

**ДЖЕЙМС
ФЕНИМОР
КУПЕР**

КРАСНОКОЖИЕ

Джеймс Фенимор Купер

Краснокожие

Серия «Джеймс Фенимор Купер.

Собрание сочинений», книга 18

Серия «Хроника Литтлпейджей,

или Трилогия в защиту

земельной ренты», книга 3

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=125438

Краснокожие: Мир книги; Москва; 2009

ISBN 978-5-486-03199-1, 978-5-486-02242-5

Аннотация

Джеймс Фенимор Купер (1789–1851) – американский писатель, чьи произведения еще при жизни автора завоевали огромную популярность как в США, так и в Европе. В его книгах рассказывается о героизме отважных покорителей Дикого Запада, осваивающих девственную природу Америки, о трагической судьбе коренных жителей континента – индейцах, гибнущих под натиском наступающей на них цивилизации. Развернувшаяся борьба за землю в Северной Америке натолкнула Купера на мысль написать серию романов о жизни и судьбе

крупных землевладельцев. Эти произведения, представляющие собой историческую сагу о судьбе трех поколений семейства Литтлпейджей, обживающего Новый Свет, получили общее название «Хроника Литтлпейджей, или Трилогия в защиту земельной ренты» (1845–1846). В данном томе представлен роман «Краснокожие» (1846), являющийся заключительной частью трилогии.

Содержание

Глава I	6
Глава II	23
Глава III	36
Глава IV	47
Глава V	63
Глава VI	77
Глава VII	96
Конец ознакомительного фрагмента.	103

Джеймс Фенимор Купер

Краснокожие

© ООО ТД «Издательство Мир книги», 2009

© ООО «РИЦ Литература», состав, 2009

* * *

Глава I

Твоя мать была образцом добродетели, и она говорила: ты – моя дочь; твой отец был князем Милана и имел единственную наследницу принцессу; это неплохое происхождение.

«Буря»

Мой дядя Ро и я только что совершили дальнейшее путешествие на восток и после долгого отсутствия, длившегося пять лет, вернулись, наконец, в Париж. Мы возвращались через Египет, Алжир, Марсель и Лион и целых восемнадцать месяцев не имели ни одной строчки известий из Америки. Несмотря на все принятые нами меры для того, чтобы нам высылали нашу корреспонденцию на разные банкирские дома Италии, Турции и Мальты, мы не застали нигде ни одного письма.

Мой дядя долго путешествовал по Европе или, вернее, долго проживал в ней, так как из пятидесяти девяти лет своей жизни он не менее двадцати провел вне своей родины – Америки.

Старый холостяк, без всяких определенных занятий, получавший довольно кругленький доходец со своих поместий, становившихся год от года более доходными, благодаря возрастающему развитию соседнего с ним города Нью-Йорка, мой дядя, имея склонность к путешествиям, проводил боль-

шую часть своей жизни там, где находил возможность лучше удовлетворять всем своим вкусам.

Хедж Роджер Литтлпедж, младший сын деда моего Мордаунта Литтлпеджа и его жены Урсулы Мальбон, родился в тысяча семьсот восемьдесят шестом году. Отец мой Мальбон Литтлпедж был старшим сыном деда, и если бы он пережил своих родителей, то унаследовал бы от них громадное поместье Равенснест («Воронье гнездо»). Но мой отец скончался молодым, а потому, по достижении восемнадцатилетнего возраста, я получил все то, что должно было быть его законной частью.

Мой дядя Ро на свою долю получил Сатанстое (Чертов палец) и Лайлаксбуш (Сиреневый куст), две загородных дачи, при которых имелись и небольшие фермы, которые хотя и не могли быть названы поместьями в строгом значении этого слова, но, в сущности, были не менее доходными владениями, чем даже все необозримые луга, поля и пашни Равенснеста. Дядя мой был богат, и все мы были прекрасно обеспечены: тетки мои имели крупные капиталы в различных облигациях и верных закладных, а также в городских акциях; сестра же моя Марта располагала состоянием по меньшей мере в пятьдесят тысяч долларов наличными деньгами. У меня тоже было немало городских акций, которые с каждым годом повышались в цене и давали прекрасные доходы. Статья о неприкосновенности капитала и процентов до моего совершеннолетия в течение семи лет немало способствовала из-

рядному приращению моих капиталов, надежно помещенных под проценты в обществе штата Нью-Йорк. Эта статья, или, вернее, оговорка в завещании гласила, что я вступлю во владение всем моим состоянием не ранее, чем мне исполнится двадцать пять лет. Коллегию я окончил к двадцати годам, и дядя Ро предложил попутешествовать, чтобы пополнить пробелы моего образования. Так как такого рода перспектива всегда является заманчивой для молодого человека, то мы, недолго думая, отправились в путь как раз в то время, когда окончился несколько задержавший нас финансовый кризис тысяча восемьсот тридцать шестого – тридцать седьмого годов. В Америке требуется не меньше усилий для того, чтобы сохранить в целости свои капиталы, чем для того, чтобы их нажить.

Звали меня так же, как и дядю моего, Хеджес Роджер Литтлпедж, но меня называли Хегс, тогда как дядю вся родня звала Роджер, Ро и Хедж, смотря по тому, как кому нравилось.

У этого добрейшего дядюшки Ро была своя особая система снимать повязку с глаз американцев и очищать от тины провинциализма республиканские алмазы.

По его мнению, следовало начинать непременно с азбуки и уж затем переходить последовательно к литературе и математике. Но, впрочем, это требует кое-каких пояснений. Дело в том, что большинство путешествующих американцев высаживается в Англии, стране наиболее передовой по части ма-

териального развития, а затем отправляются в Италию, иногда в Грецию, а уж Германию и другие менее деятельные северные страны оставляют обыкновенно напоследок. Но дядя мой находил нужным начинать с древних и кончать новейшими народами и странами, хотя и сознавал, что таким путем отчасти умаляется прелесть новизны. Так, например, американец, прибывший прямо с родного западного материка, конечно, может наслаждаться и в Англии воспоминаниями прошедшего, но эти самые воспоминания прошлого покажутся ему и бледными, и мало интересными после того, как он успел уже повидать и храм Нептуна, и Колизей, и Парфенон или, вернее, то, что еще уцелело от них. Так было и со мною. Сойдя на берег в Ливорно, мы в течение года объехали Италию. Затем через Испанию и Францию добрались до Парижа, а уж оттуда отправились в Москву и к берегам Балтийского моря. Следуя далее этим путем, мы направились в Англию, причем избрали путь на Гамбург. Объехав все уголки Соединенных Британских Королевств, все древности которых мне показались весьма интересными в сравнении со всем тем, что я уже видел, мы, наконец, вернулись в Париж, где самородному американскому алмазу надлежало приобрести необычайный блеск и чудную шлифовку.

Мой дядя Ро особенно любил Париж, где приобрел собственный небольшой отель, в котором постоянно оставлял для себя роскошно убранную, прекрасную квартиру, занимавшую весь первый и второй этажи. Остальную часть дома

занимали жильцы. Иногда, когда дядя отлучался из Парижа на время более полугода, он, в виде особой милости, соглашался сдать и свою квартиру какой-нибудь знакомой семье американцев. И в таких случаях вся сумма наемной платы употреблялась им на обновление обстановки и приобретение новых ценных вещей.

По возвращении нашем из Англии мы провели целый сезон в Париже, посвящая все время исключительно шлифовке самородного алмаза. Когда моему дяде вдруг пришла фантазия, что мне необходимо побывать на востоке, он и сам еще дальше Греции ни разу не бывал, и потому решился сопутствовать мне и на этот раз.

За это время мы посетили Грецию, Константинополь, Малую Азию, Святую землю, Аравию, Красное море и Египет. Мы отсутствовали более двух лет и уже очень давно не получали никаких известий из Америки.

В письмах, получаемых нами ранее, ни одним словом не упоминалось о наших общих семейных и денежных делах. Мы знали только, что акции различных банков стояли высоко и что повсюду наши переводы выплачивались нам с готовностью и без малейших затруднений.

Но вот все наши странствования окончены, и мы, наконец, снова в стенах прекрасного Парижа. Наш почтовый дормез подвез нас прямо к роскошному отелю дяди на улице Сен-Доминик, а час спустя мы сидели уже за обедом под своим собственным домашним кровом. Жилец, занимавший в на-

ше отсутствие квартиру дяди, выехал из нее согласно условию за месяц до нашего возвращения. В течение этого месяца старый консьерж с женой успели все привести в порядок, поправить и возобновить, нанять необходимую прислугу, а главное, отменнейшего повара, и приготовить все к нашему возвращению.

– Надо признаться, Хегс, что в Париже можно прекрасно жить, если только обладаешь «умением жить». Но вместе с тем, мне что-то очень хочется подышать воздухом нашей далекой родины. Можно и говорить, и думать все что угодно об удовольствиях, удобствах и столе Парижа, но все же нет ничего, что бы могло сравниться с родным гнездом.

– Да, я тоже говорил вам, дядя, что Америка – прекрасная страна, чтобы покушать и попить, каковы бы ни были во многом другом ее недостатки.

– Ты говоришь: прекрасная страна, чтобы покушать и попить. Ну да, но только при условии сумеешь избавиться от излишнего жира и заручиться прежде всего приличным поваром. А впрочем, ведь между кухней Новой Англии и центральных штатов такая же разница, как между английской и немецкой кухней, то же самое можно сказать и про центральные южные штаты, в которых стол напоминает до некоторой степени кухню Вест-Индии, тогда как кухня средних штатов почти та же, что и английская, если прибавить к ней кое-какие наши отличнейшие блюда, как, например, баранья

голова, железница¹, водяная птица и многие другие.

– Не предложить ли тебе, Хегс, немного этого неизбежно-го «poulet a la Marengo?» Ах, как бы я желал, чтобы то была наша американская дворовая птица с добрым ломтем дикого поросенка! Словом, я чувствую себя сегодня завзятым патриотом, мой милый Хегс!

– Это весьма естественно, дядя Ро, и я готов обвинить себя в том же грехе. Ведь вот уже пять лет, как мы вдали от родины; мы так давно не имеем оттуда никаких вестей, да и к тому же мы знаем, что теперь наш Джекоб (то был вольноотпущенный из негров, находившийся в услужении у дяди), мы знаем, – говорю я, – что Джекоб отправился за нашими газетами и письмами, и потому невольно переносишься душой и мыслью по ту сторону Атлантического океана. Я убежден, что завтра у нас обоих будет легче на душе, когда мы успеем ознакомиться с содержанием наших писем и газет.

– Знаешь что, Хегс, выпьем-ка мы с тобой по старому нью-йоркскому обычаю! Покойный твой отец и я никогда бы не подумали омочить губы в стакане доброй мадеры без того, чтобы не сказать друг другу: «Твое здоровье, Малх!» – «Твое здоровье, Хегс!».

– Да, хотя обычай этот уже немного устарел, но у американцев он стал почти священным, так как они долее всех других придерживались этого обычая, а потому я с радостью буду пить за ваше здоровье.

¹ Особого рода рыба.

– Спасибо, Хегс!.. Анри!

Так звали дворецкого моего дяди, которому этот последний, во все время нашего отсутствия в Париже, продолжал полностью выдавать содержание с тем, чтобы раз вернувшись быть уверенным, что этот добросовестный и честный человек вновь примет на себя все хлопоты по дому и хозяйству.

– Monsieur? – отозвался Анри.

– Вот видите ли, друг мой, я ничуть не сомневаюсь в том, что это старое Бургундское – отличное вино, да и на вид оно мне кажется прекрасным; но мы сегодня хотим с моим племянником выпить по-американски, и потому я думаю, что вы нам не откажете в стакане доброй мадеры.

– Я очень счастлив, что могу вам этим услужить, monsieur, сию минуту!

Мы с дядей выпили его любимой мадеры, хотя о качестве ее я бы не мог сказать ничего особенно лестного.

– Что за прекрасный фрукт эта Ньютаунская ранета! – воскликнул за десертом дядя, вертя в руках полуочищенную грушу. – Французы так много говорят здесь про свои пресловутые «poires de beurге»², но на мой вкус они не могут выдержать сравнения с теми ранетами, какие мы имеем в Сатанстое; кстати будь сказано, эти ранеты даже гораздо лучше тех, что получают по ту сторону реки в самом Ньютауне!

– Вы правы, дядя, ваши груши превосходны, и ваш фрук-

² Сорт вкусной французской груши.

товый сад в Сатанстое лучше всех тех, какие мне случилось видеть. Но часть его, если не ошибаюсь, взята была под квартал города Дибблтон.

– Да, чтобы черт побрал этот проклятый городишко! – воскликнул дядя. – Я очень сожалею, что уступил даже один аршин этой земли, хотя я от этой продажи выручил, в сущности, немало денег. Но что такое деньги! Они не могут нас вознаградить за то, что дорого нашему сердцу.

– Вы говорите, дядя, что получили большую сумму за тот клочок земли, а во сколько, смею спросить, ценили Сатанстое, когда он вам достался от деда?

– Уж и тогда по своей стоимости Сатанстое представлял собою довольно кругленькую сумму. Ведь это первоклассная прекраснейшая ферма и вместе с камышами и солончаками имеет не менее пятисот акров всякой земли.

– Насколько помнится, вы получили Сатанстое в тысяча восемьсот двадцать девятом году?

– Да, именно, это был год смерти моего отца. В то время эту ферму ценили в тридцать тысяч долларов, но ведь в ту пору земля в Вестчестере не имела большой цены.

– Да, знаю. Ну, а впоследствии вы продали городу около двухсот акров, в том числе значительную часть камышей, за пустячную сумму в сто десять тысяч долларов наличными деньгами, не так ли? Дельце недурное! Грех сказать!

– Наличными деньгами я получил лишь восемьдесят тысяч, а остальные тридцать обеспечены верной закладною.

– Ведь закладная же у вас целая и сейчас, насколько я знаю; эта ипотека, кажется, простирается чуть ли не на весь Дибблтон. Да, что и говорить, целый, хотя и небольшой, но все же город, может считаться недурным обеспечением для тридцати тысяч долларов.

– Оно, конечно, так, но все же, если бы мне вот сейчас вздумалось оправдать свои деньги, то, право, любой филладельфийский поверенный был бы в немалом затруднении, так как ему пришлось бы воевать с каждым отдельным владельцем городских акций.

– Хм, значит, с Лайлаксбушем вам было меньше хлопот?

– Да, там дело совсем иное. Ты знаешь, Лайлаксбуш расположен на острове Манхаттен, и нет сомнения, что рано или поздно там будет построен город. Правда, что эта ферма находится почти в восьми верстах от ратуши, но, несмотря на это, эта земля во всякое время найдет покупателя и может дать большие деньги. Да и кто может знать, что со временем город не разрастется до самого Кингсбриджа?!

– Я слышал, что вы за него взяли хорошую цену, дядя?

– Да, немало, триста двадцать пять тысяч долларов наличными. Я не соглашался на рассрочки и требовал всю сумму сразу. Теперь все эти деньги мною помещены в надежных шестипроцентных акциях компании штатов Нью-Йорк и Огайо.

– Здесь многие сочли бы это за весьма дурное помещение капиталов, – заметил я.

– Тем хуже для них! Что там ни говори, Америка – великая и славная страна; мы можем только радоваться и гордиться, что мы с тобой ее сыны, нет нужды, что в нее кидает камни чуть ли не весь крещеный мир.

– Но ведь нельзя не сознаться, что у других это желание бросать в нас камнем явилось, вероятно, просто из подражания нам, так как, поистине, если и есть такая нация, которая только и делает, что постоянно побивает сама себя камнями, так это наша возлюбленная родина.

– Да, есть грех, но это ведь не более, как пятно на Солнце! Ты повидал и ознакомился теперь довольно основательно почти со всеми народами и странами Старого Света и должен был сам лично убедиться, насколько наша родина стоит выше их всех.

– Я помню, дядя, что вы всегда так отзывались об Америке, а вместе с тем вы большую половину своей жизни, с того момента, как стали независимы, провели вне этой великой и славной страны.

– Это чистейшая случайность, дело вкусов и склонностей, мой друг; любя душевно свою родину, я не решусь утверждать, что Америка – именно та страна, где молодому человеку всего приятнее вступать в жизнь, о, нет! У нас число различных развлечений и увеселений слишком ограничено; у нас народ все больше деловой, и там живет хорошо семейным людям, имеющим свой собственный родной очаг, свою семью и свое дело; а человеку свободному, ничем

не занятому, без всяких сильных сердечных привязанностей, трудно найти у нас такое разнообразие и развлечений, и наслаждений, как в этой старой части света. Мало того, я готов согласиться, что не материально, а умственно в любой столице или большом центре какого-нибудь европейского государства люди переживают за один день больше разного рода впечатлений и ощущений, нежели, например, у нас, в Нью-Йорке, Филадельфии и Балтиморе за целую неделю.

– Ну, а о Бостоне вы не упомянули, дядя! – заметил я.

– Да, о Бостоне я ничего не говорю, там все ужасно чутки и впечатлительны, а потому лучше оставить их в покое. Но если здесь, в Европе, людям праздной жизни, людям, с некоторой утонченностью вкусов и привычек, живется лучше, чем у нас, зато каждому человеку дела и плодотворной мысли, каждому филантропу, философу, экономисту найдется в Америке много материала, доказывающего превосходство нашей нации. Взгляни хотя бы на наши законы: какое удивительное равенство для всех! И все они построены на непоколебимых основах справедливости и правды, направлены на благо общества и каждой отдельной личности и одинаковы для бедных и богатых.

– Да так ли, дядя?! Равно ли покровительствуют все наши законы и бедным, и богатым?

– Ну, я готов, пожалуй, согласиться, что тут есть некоторый грех, но всему человечеству присуще некоторое пристрастие; никто не вправе ожидать здесь, на земле, полно-

го совершенства, и в сущности, если говорить правду, то даже и пристрастие это скорее клонится в лучшую, а не в худшую сторону. Если уже неизбежно, согласно вечному порядку жизни, что во всем должна быть некоторая доля несправедливости или неравенства, то, без сомнения, лучше, чтоб это было в пользу бедняков, чем в пользу богачей.

– Нет, дядя, истинная справедливость не разбирает, кто беден, кто богат – она должна быть одинакова для всех. Мне часто приходилось слышать, что гнет и власть большинства – это самый ужасный, самый беспощадный деспотизм.

– Да, там, где этот деспотизм на самом деле существует; конечно, легче удовлетворить одного тирана, чем целую толпу тиранов, да и ответственность, если она ложится на одного, бывает несравненно тяжелее и страшнее, и самая вина проступка ярче и перед Богом, и перед людьми; вот почему я верю и понимаю, что самодержавный царь даже тогда, когда имеет склонность быть деспотом, может быть остановлен и удержан от некоторых поступков и деяний страхом ответственности за свои поступки, если вся тяжесть этой ответственности должна пасть всецело на его голову. Но ведь у нас почти ни в чем не проявляется какой бы то ни было деспотизм, а если даже где-нибудь он существует, то уж, конечно, не в такой мере, чтобы перевесить все преимущества нашей системы правления.

– Я слышал, дядя, от очень умных людей, что первое печальное явление нашей системы, это – постепенный упадок

чувства справедливости в нас самих. Судьи наши утратили мало-помалу все свое влияние, тогда как присяжные настолько же искусно и усердно создают законы, насколько обходят и преступают их, смотря по обстоятельствам.

– Во всем этом есть доля правды, Хегс, об этом я не спорю; и я не хуже тебя знаю, что в любом более или менее важном процессе принято спрашивать не то, которая из двух тяжущихся сторон права, а то, чью сторону гнут присяжные. Впрочем, я ведь вовсе не говорю о совершенстве, я только утверждаю, что родина наша – великая и славная страна, и мы с тобой можем гордиться, что старый Хегс Роджер, наш предок и тезка, вздумал сюда переселиться полтора века тому назад. Чем я особенно горжусь у нас, так это равенством всех людей перед законом.

– Да, если бы богатые имели те же права и преимущества, как беднота, тогда и я бы согласился с вами.

– Ну, да, об этом можно кое-что сказать, но это же неважно.

– Ну, а последний новейший закон о несостоятельности и банкротствах! Что вы на это скажете?

– Да что и говорить! Это, действительно, возмутительное дело!

– А случилось ли вам, дядя, слышать или читать об одном фарсе, поставленном по этому самому поводу на одной из второстепенных сцен в Нью-Йорке, вскоре после нашего с вами отъезда из Америки?

– Нет, не слыхал, хотя, говоря правду, все наши пьесы, в сущности, все те же фарсы – о них и говорить, пожалуй, не стоит.

– Нет, эта пьеса заслуживает некоторого внимания, она задумана довольно остроумно: это все та же старая история доктора Фауста, в которой молодой повеса запродавал дьяволу свою душу и тело. И вот однажды вечером, когда он вместе с целой гурьбой веселых, хмельных товарищей кутил, развратничал, шумел и веселился, является к нему его кредитор и требует, чтобы его впустили. И вот он входит, на козых ножках и с рожками на лбу, а также, если я не ошибаюсь, с длинным тонким хвостом на манер коровьего; однако Том (это имя повесы) не робкого десятка парень, его безделицей не напугаешь, он настаивает на том, чтобы его приятель Дик закончил начатую веселенькую песню, прерванную приходом незваного гостя, как-будто появление этого последнего нимало его не касалось. Но, несмотря на то, что у всей остальной компании не было никакого рода дел или условий с косматым чертом, Сатаной, все же у большинства были тайные грешки, благодаря которым все они чувствовали себя не совсем ловко в присутствии этого нового лица, и многие из них смутились, несмотря на изрядное количество выпитого вина. Однако запах серы давал о себе знать, напоминая о присутствии здесь не совсем обычного гостя; тогда Том, встав из-за стола, подходит к нему и вежливо осведомляется, по какому делу он явился сюда.

– Вот это ваше обязательство, милостивый государь, – отвечает нахалу Сатана, указывая многозначительно на некий документ.

– Ну, обязательство, так что же из того? Ведь оно, кажется, в порядке?

– Да, но разве это не ваша подпись, не ваша рука?

– Ну, да, моя, я этого не отрицаю!

– И подпись эта сделана вашей кровью?

– Да, это ваша шутовская выдумка, я вам тогда же говорил, что чернила имеют ту же цену перед лицом закона.

– Ваш срок истек семь минут и четырнадцать секунд тому назад! И я теперь требую уплаты!

– Ха, ха! Вот славный долг! Да кто же теперь платит? Даже и Пенсильвания, и Мэриленд, и те не думают платить! А, впрочем, если вы настаиваете, то сделайте одолжение, – и с этими словами Том вытаскивает из кармана бумагу и добавляет с неподражаемым комизмом: – Так вот, уж ежели вы так требовательны, вот получите – это новый закон о несостоятельности и банкротствах, подписанный Смес-Томсоном.

После этого разочарованный вконец Сатана исчез со скрежетом зубовным, бормоча всякие проклятия.

Дядя Ро рассмеялся от души; но вместо того, чтобы из моего рассказа сделать те выводы, каких я ожидал, получил после этого лишь еще лучшее мнение о нашей родине.

– Так что же, Хегс, это доказывает только, что между нами есть немало смышленных парней! – воскликнул он и да-

же прослезился от умиления. – Хотя есть несколько дурных и превратных законов и несколько дурных и развращенных людей, которые применяют их не так, как должно, но что же из того? Ведь говорят: в семье не без урода! А вот и Джекоб с нашими письмами и газетами! Их целая корзина.

Действительно, Джекоб, очень почтенный негр, внук старого невольника по имени Джеб, который и до настоящего времени жил на моей земле в прекрасном Равенснесте, принес нам около двухсот писем. В этот момент мы кончали десерт, и я и дядя поднялись из-за стола, чтобы взглянуть поближе на все эти конверты и обертки. Разобрать нашу почту было на этот раз дело нелегкое.

– Здесь целая дюжина писем моей сестры, – заметил я, разбирая газеты и письма, адресованные на мое имя.

– Конечно, ведь твоя сестра еще не замужем и потому имеет время думать о брате, ну, а мои все замужем и одно письмо в год – максимальная порция. Но вот дорогой почерк моей матери. Урсула Мальбон никогда своих детей не позабудет. Ну, теперь покойной ночи, милый Хегс, – добавил дядя, забрав всю свою почту, – нам на сегодня дела хватит, а завтра увидимся поутру и сообщим друг другу наши новости.

– Покойной ночи, дядя! – отозвался я. – Завтра за завтраком мы с вами побеседуем опять о нашей милой родине и о наших близких.

Глава II

*Отчего склоняется чело моего государя, как
колос, отягченный благодеяниями Цереры?
«Генрих VI»*

Я вчера улегся спать не ранее двух часов ночи и встал поутру около десяти, но лишь после одиннадцати ко мне явился Джекоб с докладом, что господин его вышел из своей спальни в столовую и ожидает меня к завтраку. Конечно, я, в свою очередь, немедленно поспешил к нему, и несколько минут спустя мы с дядей уже сидели за столом.

При входе меня поразил серьезный, озабоченный вид дяди. Возле его прибора на столе лежало несколько номеров газет и письма. Его обычное приветствие «добрый день, Хегс» было как и всегда ласково и сердечно, но мне послышалась в его словах какая-то грустная нотка.

– Надеюсь, у вас не было никаких неприятных известий?! – воскликнул я, поддавшись первому впечатлению. – Последнее письмо, которое я получил от Марты, нас извещает, что бабушка отлично себя чувствует, и все ее письмо дышит беспечной веселостью.

– Да, матушка моя здорова и, очевидно, несмотря на свои восемьдесят лет, прекрасно сохранилась; но все-таки ей хочется поскорее свидеться с нами, особенно с тобой; ведь вну-

ки всегда бывают любимцами бабушек. А у тебя все известия приятные?

– Да, неприятного нет ничего! Все письма от Марты скорее веселые; я полагаю, что теперь она должна быть красавицей.

– И я в этом уверен, не может быть, чтобы Марта Литтлпедж не была хороша; у нас, в Америке, пятнадцать лет для молоденькой девушки, бесспорно, такой возраст, когда можно почти что безошибочно определить, какая из нее должна быть женщина; к тому же я не раз слышал от старых людей, знавших нашу бабуку, что Марта очень похожа на нее, когда та была в ее летах, а наша бабука в свое время была первой красавицей во всей стране.

– В письмах сестры встречаются также намеки на некоего Дарри Бикмэна, который, очевидно, очень сердечно к ней расположен. Вы, дядя, верно, знаете это семейство Бикмэн?

Дядюшка удивленно взглянул на меня; как истый нью-оркец и по рождению, и по связям, мой дядя питал особое уважение ко всем старым и коренным фамилиям страны и штата.

– Ты и сам, верно, должен знать, Хегс, что у нас имя Бикмэн считается старинным и всеми уважаемым, – ответил дядя. – Есть одна ветвь этих Бикмэнов или Бакмэнов, поселившаяся по соседству с нашим Сатанстое, и я предполагаю, что Марта, навещая мою мать, имела случай видеть и встречать их там. Да, это известие меня сердечно радует. Но, между

прочим, я получил одно, которое меня глубоко огорчило! – добавил дядя.

Встревоженный и удивленный, я смотрел на его красивое и огорченное лицо, которое он прикрывал рукою.

– Осмелюсь спросить вас, что это за вести, которые так огорчили вас? – решился я спросить, наконец, дядю.

– Да, я тебе сейчас все расскажу. Ты должен знать об этом уж потому, что ты имеешь прямое отношение к этому делу.

– Я не понимаю, на что вы намекаете, милый дядюшка. Будьте добры, объяснитесь обстоятельнее.

– Я это знаю и потому сейчас же поясню то, что сказал. Ты, конечно, знаешь земли Ван-Ренсселара; они занимают громадное пространство на протяжении сорока восьми миль от запада к востоку и двадцати четырех миль с севера к югу. За исключением трех или четырех городов, лежащих на этом пространстве, вся земля эта принадлежала одному человеку. По смерти последнего Ван-Ренсселара осталось около двухсот тысяч долларов различных недоимок с разных лиц, арендовавших его земли, и этою-то суммой он в своем завещании распорядился по своему усмотрению, назначив и душеприказчиков для приведения в исполнение своей последней воли. И вот попытка собрать эти деньги и вызвала первые смуты и беспорядки в стране. Те, которые столько времени спокойно оставались должниками, не захотели и теперь платить свои долги. Люди эти, зная всю силу и значение большинства в Америке, составили союз с другими им подоб-

ными людьми, мечтавшими о том, чтобы одним разом уничтожить всякую поземельную и арендную плату. Вот этот-то союз людей, желающих пользоваться чужой землей, но не желающих платить, и создал так называемые смуты очага. Вдруг появились группы людей, выряженных наподобие индейцев, укутанных в коленкоровые рубашки и маски цвета кожи краснокожих, вооруженных преимущественно ружьями и ножами; они вооруженной силой восстали против законной исполнительной власти полиции и судебных приставов и воспрепятствовали им собирать ренту так нагло, что судебная власть нашла необходимым вытребовать себе на помощь значительный корпус милиции, чтобы оградить своих должностных лиц во время исполнения ими служебных обязанностей. Казалось, что такой радикальной мерой бунтовщики были усмирены и порядок в стране вновь водворен; на самом деле тут вышло на беду одно весьма печальное недоразумение или ошибка. Губернатор провинции, высланный по требованию полиции на место бунта военную милицию, доложил о случившемся в законодательный совет в числе дел, относящихся к жалобам, претензиям арендаторов, как-будто они были в этом деле пострадавшими, тогда как, в сущности, действительно пострадавшими являлись только одни землевладельцы, то есть Ван-Ренсселар в ту пору. Эти беспорядки происходили исключительно только на их земле. И эта-то ошибка губернатора нанесла нашей стране громадный вред, которого, конечно, и сам он не предвидел.

– Я удивляюсь, как могла произойти подобная ошибка, как можно было говорить в защиту арендаторов, когда для землевладельца не было сделано ничего, кроме того, что строго предписывает наш закон.

– Я вижу здесь одну только причину, а именно: все дело в том, что землевладелец – единичная личность, а возмущившихся арендаторов около двух тысяч человек. Несмотря на всевозможные обвинения богатых землевладельцев в феодализме, аристократизме и барстве, ни один из Ренсселаров не имеет ни на йоту более прав или предпочтений перед законом, или иных экономических преимуществ, чем их последний конюх или лакей, если только они не негры. А всяких гарантий и обеспечений даже имеют гораздо меньше, чем их слуги и арендаторы.

– Итак, вы полагаете, что смелость и нахальство этих бунтовщиков исключительно объясняются только тем, что они представляют собою большинство избирательных голосов?

– Да, без сомнения! Если бы на каждой ферме имелось по хозяину, как имеется арендатор, то жалобы этих последних были бы приняты властями с полнейшим равнодушием, а если б на каждого арендатора приходилось по два землевладельца, то, вероятно, те же жалобы с негодованием были бы отвергнуты и оставлены без последствий.

– Но в чем, собственно, состояли жалобы господ арендаторов?

– Они жаловались на некоторые параграфы в своих усло-

виях и контрактах, которые когда-то сами добровольно подписали, или вернее, были недовольны всеми параграфами от первого до последнего; их более всего огорчало то обстоятельство, что они не могли назваться полными, самовластными собственниками тех земель, которые по праву принадлежат не им, а их землевладельцу. Все они возроптали на контракты и всякого рода узаконенные документы, совершенно забывая, что только благодаря им теперь пользуются теми правами, какие им даны на эксплуатируемую ими землю, и что с того момента, как бумаги эти будут признаны недействительными, они тотчас же потеряют всякие права на занимаемые ими земли.

– Но как же не причастная к этому делу часть общины не восстала на защиту правого дела, не потребовала уничтожения подобных злоупотреблений и не уничтожила вконец?

– Ах, милый друг, наши законы писаны в расчет, что они будут добросовестно применяться, с твердой уверенностью, что в нашей республике всегда найдется достаточное число людей, вполне честных и справедливых, которые будут неуклонно следить за святостью и нерушимостью закона. Но на самом деле грустная истина показывает нам, что люди благонамеренные и хорошие обыкновенно бездействуют и остаются совершенно пассивными, а деятельность выпадает почти постоянно на долю людей злонамеренных, людей интриги. Нет, нет! Что там ни говори, но в смысле политического влияния никогда не следует рассчитывать на деятель-

ность добродетели: обязательно следует опасаться во всякое время порочной и преступной деятельности зла.

– Вы смотрите не с особенно лестной точки на наше человечество, милый дядя.

– Я говорю о людях, какими их видел и узнал в двух противоположных полушариях. Но вернемся к вопросу об арендаторах: они стали кричать о правах феодализма еще и на том основании, что некоторые из фермеров господ Ван-Ренсселаров должны были выплачивать известную часть своей арендной платы не деньгами, а живностью или же несколькими рабочими днями в пользу владельца. Мы с тобой ведь достаточно знаем Америку и все ее жизненные условия, чтобы понять, что большинство земледельческого класса было бы очень счастливо, если бы им позволяли уплачивать поземельную ренту рабочими часами или различной живностью, а не деньгами; одно это уже ясно доказывает всю безосновательность вышеупомянутых сетований и жалоб. Да и на самом деле, что в этом обязательстве более феодального, чем в обязательстве булочника или же мясника по отношению к известному лицу, которому бы они обязались в течение определенного срока поставлять ежемесячно или ежедневно известное количество мяса и булок! При том, если никто не возмущается уплатой ренты хлебом и зерном, то почему же возмущаться уплатой ренты птицей?

– Но если я не ошибаюсь, – заметил я, – ведь эти обязательства всегда могут быть заменены денежной платой, не

так ли?

– Совершенно верно, это всегда предоставляется на усмотрение фермера, и самое обязательство это, взамен денежной платы, обыкновенно делалось для облегчения и по желанию, и по просьбе самих арендаторов. Каждому здравомыслящему человеку, конечно, вполне ясно, что обязанность платить ренту отнюдь не создает никакой политической зависимости, равно как и открытый кредит в любой лавке – и даже того меньше, особенно если говорить о договорах и условиях арендаторов Ренсселаров; всякий должник или кредитор в любой лавке обязан уплатить свой долг в каждый данный момент, когда того потребует его заимодавец, тогда как фермеры заранее знают срок и день уплаты и могут задолго готовиться к нему. Это чистый абсурд возмущаться арендными условиями и называть их отголосками феодализма; ведь, в сущности, эти условия гораздо выгоднее для арендаторов, чем для кого-либо другого. Как я тебе уж говорил, Хегс, многие из них были «бессрочные» или же «постоянные», не трудно понять, что чем длиннее срок условия, тем выгоднее для нанимателя: предположим, например, что два фермера сняли у некоего землевладельца землю один – на бесконечный срок, а другой – на пять лет. Который же из них, думаешь ты, будет более независим от политического влияния землевладельца? Конечно, тот, который заключил условие на бесконечный срок! Он, в сущности, настолько же независим от своего землевладельца, как и землевла-

делец от него, за исключением лишь обязательства уплачивать в определенный срок условную арендную плату. Но, погоди, главное-то еще впереди. Ведь я еще не рассказал тебе и половины всех тех ужасов, какие вызвал этот, в сущности, совершенно безосновательный протест.

– Что же еще случилось? Скажите, ради Бога, дядя!

– Вот видишь ли, все эти беспорядки, действительно, начались на землях Ренсселаров; но вскоре не преминуло обнаружиться, что эти злоупотребления феодальной системы простираются далеко за пределы владений господ Ренсселаров, и те же беспорядки возникли и в других местах штата. Открытое сопротивление закону и прекращение арендной платы происходило и на землях Ливингстонов и, наконец, в восьми или десяти других графствах. Образовались почти повсеместно какие-то сборные войска или, вернее, хорошо вооруженные шайки, открыто сопротивляющиеся власти сборщиков поземельной ренты и появляющиеся замаскированными индейцами повсюду, куда только являлись посланные правительством чиновники для взимания с должников следуемой от них ренты. Дело это дошло уж до того, что эти шайки не побоялись уложить на месте и ранить нескольких должностных лиц, – все признаки близкой междоусобицы были налицо.

– Но что же, ради Бога, делало в это время правительство?

– О, оно делало много таких вещей, которых ему, наверное, не следовало бы делать, и наоборот, не делало почти ни-

чего из того, что ему следовало бы делать! Самое простое и вместе с тем и самое разумное было бы, конечно, вызвать порядочный по своей численности отряд войск, который бы появлялся повсюду, где только замечалось присутствие антирентистов с их пресловутыми инджиенс, как они называли свои ряженные шайки; тогда бы разбитые наголову нарушители общественной тишины не замедлили, утомившись от преследований, рассеяться, как пыль по ветру; но вместо того наше правительство буквально ничего не делало, вплоть до того момента, когда дело дошло уж до кровопролития и беспорядки эти стали не только позором для правительства, но и бичом для всех порядочных людей, не говоря уже о тех, права и собственность которых страдали в этом вопросе. И вот, только тогда власти наши, наконец, спохватились и обнародовали закон, гласивший, что всякий, появившийся в публике ряженным и вооруженным, будет считаться законопреступником и судиться как таковой. Однако мой поверенный мистер Деннинг сообщает мне, что в Делаваре уже теперь закон этот открыто нарушается и банды более тысячи человек инджиенсов, переряженных и вооруженных, выказали открытое сопротивление сборщикам арендной платы. Чем это может кончиться, знает один Бог!

– Неужели вы опасаетесь серьезной междоусобной войны?

– Трудно сказать, что из этого может выйти и куда могут привести подобные ошибки и заблуждения, когда им беспре-

пятственно позволяют развиваться в народе, да еще в такой стране, как наша родина. До сих пор эти бунтовщики, в сущности, не заслуживали ничего иного, кроме презрения и пренебрежения, и всех их можно было бы, при некоторой энергии со стороны правительства, вразумить и привести к порядку менее чем за неделю, но наши власти только бездействуют. В некоторых отношениях наше правительство поступает прекрасно, но зато в других оно настолько пошатнуло и святость собственности, и личные права человека и гражданина, что едва ли эти ошибки легко можно будет исправить, если только вообще дело это еще хоть сколько-нибудь поправимо.

– Мне странно слышать это от вас, дядя, насколько мне известно, вы принадлежите ведь к той же партии и держитесь одних и тех же убеждений, что и те люди, которые теперь стоят у власти.

– Так что ж из этого? Когда ты видел, Хегс, чтобы я в силу своих политических убеждений и симпатий поддерживал или оправдывал то, что я считаю дурным или постыдным? – возразил дядя тоном, в котором слышался легкий упрек и укоризна. Затем он продолжал:

– Прежде всего, правительство взглянуло на этот вопрос совсем не так, как следовало, не разобрав, кто прав, кто виноват, и не поняв даже того, что все претензии и ропот арендаторов сводятся лишь к тому, что другой человек не желает им предоставить распоряжаться его собственностью по их

усмотрению. Затем один из губернаторов был даже настолько гуманен, что предложил род компромисса, чтобы уладить это дело, что вовсе не входит в его компетенцию, так как для всякого рода тяжб существуют суды. Как бы там ни было, но этот господин предложил, чтобы Ренсселары получили от каждого из своих арендаторов, который того пожелает, известную сумму денег, доход с которой равнялся бы сумме, получаемой им с данной земли ежегодной арендной платы. Но вот некий гражданин, обладающий совершенно достаточным для него состоянием, не заботящийся нимало о приращении своих богатств, который дорожит своим поместьем вовсе не потому, что оно представляет собою известную стоимость, а потому, что с ним у него связаны многие дорогие для него воспоминания, он получил его от своих предков, он здесь родился, жил и надеялся умереть – и вдруг потому только, что его арендатор, поселившийся на его земле каких-нибудь шесть месяцев тому назад, облюбовал арендованную им ферму и не желает иметь над собою владельца, а желает, чтобы эта ферма стала его личной собственностью, губернатор великого штата Нью-Йорк становится почему-то на сторону этого нахала, вооружаясь против ни в чем не повинного наследственного владельца данного поместья, и предлагает ему без всяких рассуждений продать то, что тот вовсе не имеет желания продавать, да к тому же еще за сумму, значительно меньшую против настоящей ценности этого участка. Разве это не возмутительно?!

– Хотелось бы мне знать, какое употребление посоветует после того его превосходительство сделать бывшему владельцу той земли, которая, по его настоянию, должна была быть продана, из тех денег, которые злополучный их экземплевладелец выручит от этой насильственной продажи? Быть может, он посоветует ему купить другое поместье и построить там новый дом с тем, чтобы их у него снова отняли, как только какой-нибудь арендатор вздумает вопиять об аристократизме, доказывая свою преданность демократизму тем, что изгоняет неповинного ни в чем человека из его родного гнезда с тем, чтобы занять его место. Нечего сказать, хорошее положение!

– Я нахожу твои замечания, Хегс, весьма дельными, действительно, теперь землевладельцам остается только строить свои дома на колесах, для того, чтобы иметь возможность перемещать свое жилище с одного места на другое, в случае, если кому из арендаторов придет фантазия принудить его продать свой наследственный участок.

Вероятно, наш разговор на эту тему затянулся бы очень долго, если бы нас не прервал приход дядюшкиного банкира, который положил конец всем нашим размышлениям по этому вопросу.

Глава III

*О, когда увижу я землю, где я родился?
Прекраснейшее место на поверхности земли! Когда
я пройду по этому театру любви, по нашим
лесам, холмам, сквозь деревни и горы, с девушкой,
гордостью наших гор, которую я обожаю.*

Монгомери

Поистине, для каждого американца, прожившего долгое время вдали от своей родины, узнать о том, что там, в его родной стране, разыгрываются явления и сцены, достойные истории средних веков, было, конечно, немаловажной новостью! И это та самая страна, которая гордилась не только тем, что служит убежищем для всех обиженных и угнетенных, но и тем, что свято охраняет права каждого человека! Все то, что мне теперь пришлось узнать, огорчало меня до крайности. За все время моих скитаний по чужим краям я привык думать, что Америка – страна самой справедливости и передовой, образцовой внутренней политики, и теперь мне жаль было утратить эту иллюзию.

Между тем дядя и я безотлагательно решили вернуться на родину; это решение, кроме того, настоятельно предписывала нам и осторожность. Мне исполнилось недавно двадцать пять лет, тот возраст, когда я мог вступить в бесконтрольное управление и пользование всем своим состоянием. В пись-

мах, полученных моим бывшим опекуном, а также и в некоторых газетах, упоминалось о том, что некоторые из арендаторов поместья Равенснест также примкнули к союзу анти-рентистов, делали взносы на содержание инджиенсов и становились настолько же опасными и ненадежными людьми, как многие другие в отношении всякого рода насилия, разрушения и уничтожения, хотя и продолжали еще покуда платить ренту за мои земли.

Согласно нашему решению мы тотчас же приняли все необходимые для того меры, чтобы могли выехать как можно скорее из Парижа, с тем, чтобы в последних числах мая быть уже у себя на месте.

– Стоит только подумать, – говорил дядя между разного рода распоряжениями и указаниями Анри и другим служащим, – стоит только подумать, до каких абсурдов могут доходить люди, когда они начинают в чем-либо пересаливать, будь то в политике, в религии или же даже просто в моде! Так, например, существуют журналы «свободного обмена», которые считают за великий грех прогресс в понятиях и взглядах препятствовать землевладельцу и арендатору заключать между собою те условия, какие для них более всего удобны и приятны, и возмущаются как чем-то чудовищным установлением таксы для извозчиков, чтобы оправдать принцип свободы и свободной торговли; по их мнению, несравненно лучше, чтоб нанимающий извозчика так же, как и извозчик, стояли и мокли под дождем, торгуясь относи-

тельно цены. Нет, положительно я не могу понять, как могут люди мириться с своею собственной непоследовательностью! Да, кстати о непоследовательности! Я хотел сказать, что тебе следовало бы расстаться с одним странным украшением над твоим местом в церкви.

– Я не совсем вас понимаю, дядя!

– Да разве ты забыл, что над вашим фамильным местом в церкви святого Андрея, в Равенснесте, красуется род деревянного резного балдахина?

– Ах, да, теперь я вспоминаю; действительно, это весьма безобразное украшение; я всегда находил этот навес не только вычурным и ни к чему не нужным, но и лишенным всякого вкуса и смысла.

– По словам мистера Деннинга, в числе других сетований и претензий против тебя одной из причин является и твое место в церкви, украшенное в знак отличия от мест остальных прихожан этим громоздким балдахином. Конечно, если бы эта скамья, украшенная этим же балдахином, принадлежала, например, семье Ньюкем, никто не вздумал бы обращать на нее внимание, а в данном случае он порождает зависть – его считают атрибутом и проявлением твоей кичливости.

– Да ведь не я же его там поставил, мне даже в голову не приходило, что это знак отличия, я принимал его просто за украшение самого здания церкви!

– Но все же надеюсь, что и ты того мнения, Хегс, что в

церкви и на кладбище не должно быть никаких светских отличий, так как и перед Богом, и перед смертью все люди равны. Я вообще всегда был против этого и возмущался всякого рода привилегиями в собрании верующих и среди прихожан одной и той же общины.

– Без всякого сомнения, дядя, я согласен с вами и отнюдь не прочь убрать этот старинный балдахин, но, тем не менее, я не могу понять, какое может быть соотношение между этим старым и безобразным украшением и вопросом ренты и нашими законными правами?

– Все дело в том, что когда причины безосновательны, то неизбежно приходится нагромождать аргументы всякого рода с исключительной целью сбить с толку логику. Но довольно об этом! Нам предстоит еще заниматься этим вопросом гораздо более, чем бы мы того желали. Ты знаешь, что в числе множества полученных мною писем есть также по письму от каждой из моих воспитанниц.

– А, это действительно отрадная для меня новость! – шутливо воскликнул я.

– Обе они, благодарение Богу, здоровы и едят очень мило; право, мне хочется похвастать тебе письмом Генриетты, которое поистине делает ей честь. Я сейчас принесу его тебе сюда; оно осталось в моей комнате на столе. – И с этими словами дядя направился в свой кабинет.

Теперь мне следует посвятить читателя в один секрет, имеющий некоторую связь с последующим. Перед моим отъ-

ездом из Америки мне очень настоятельно советовали помолвиться с одной из трех девиц, а именно: Генриеттой Кольдбрук, или Анной Марстон, или же Оппортюнити Ньюкем.

Мисс Генриетта Кольдбрук была дочь гордого, надменного англичанина, хорошей семьи, человека богатого, переселившегося вследствие каких-то политических веяний в Америку, которую он считал землей обетованной для всяких спекуляций. На самом же деле он сильно подорвал свои капиталы этими спекуляциями и, вероятно, разорился бы вконец, если бы только не умер вовремя.

Единственная дочь его наследовала, однако, после его смерти прекрасное поместье, которое, под добросовестной опекой и в руках деятельного опекуна, моего дяди Ро, стало давать не менее восьми тысяч долларов годового дохода. Это значительное состояние делало Генриетту Кольдбрук весьма желанной невестой для большинства молодых людей. Из писем бабушки моей мне стало известно, что вследствие кое-каких деликатных намеков со стороны моего дяди в душе этой молодой девушки зародилось ко мне какое-то еще смутное чувство, которое я всецело приписал простому любопытству.

Мисс Анна Марстон была также не бедная наследница, но, конечно, не могла соперничать в этом отношении с мисс Кольдбрук; у нее было не более трех тысяч долларов ежегодного дохода и маленький, скопленный ею из процентов ка-

питал. Два ее брата были кутилы и без толку мотали отцовское наследство, но мисс Анна была воспитана своей разумной матерью в прекрасных строгих правилах, и все отзывались о ней, как о девушке красивой, умной, скромной и во всех отношениях прекрасной.

Мисс Оппортюнити Ньюкем слыла красавицей Равенснеста, селения, расположенного на моей земле. Это была так называемая сельская красавица, с сельским образованием и воспитанием и сельскими манерами. Оппортюнити была дочь Овида, а Овид был сын Язона Ньюкема. Все они от отца к сыну наследовали небольшой домишко, построенный дедом теперешнего его владельца на моей земле, арендованной ими на долгий срок. Это жилище вот уже восемьдесят лет носило название дома Ньюкем, а его владельцы в течение всего этого времени арендовали у моих предков мельницу, шинок и ферму, ближайшую к селению Равенснест. При этом я прошу заметить, что семья Литтлпедж владела Равенснестом и всеми прилегавшими к нему землями гораздо ранее, чем на одном из их участков поселилась семья Ньюкем. Я преднамеренно о том напоминаю читателю, так как в очень непродолжительном времени он будет иметь случай убедиться в том, что некоторые люди были весьма склонны забыть об этом.

У Оппортюнити был брат по имени Сенека, или Сенеки, как сам он выговаривал свое имя. Так как семья Ньюкем в течение трех поколений была близка нашей семье и так как мо-

лодой Сенека выбился в адвокаты и мог считаться до известной степени человеком с некоторым образованием, то мне иногда случалось бывать в обществе брата и сестры Ньюкем. Оппортюнити выказывала чрезвычайную привязанность к моей бабушке и моей, тогда еще маленькой сестренке, и, по видимому, очень охотно бывала в «Nest», как в обыденном разговоре принято было называть наш дом в поместье Равенснест, от которого и само селение получило свое имя; мне нередко приходилось испытывать на себе чары мисс Оппортюнити, причем я принужден сознаться, что она никогда не упускала случая испробовать на мне свое искусство.

Но возвратимся к дяде и к письму мисс Генриетты.

– Вот оно! – весело воскликнул мой опекун, выходя с письмом в руке в нашу столовую, где я его все время ожидал. – Прелестное письмо, честное слово! Как бы охотно я прочел тебе его все целиком, но обе мои барышни заставили меня перед отъездом обещать им, что я не покажу их писем никому, то есть тебе. Но тем не менее я того мнения, что переписка этих молодых девушек стоит того, чтобы поинтересоваться ею, и мне кажется, что я сумею прочесть тебе небольшой отрывок из этого письма.

– Мне кажется, что лучше было бы этого не делать; ведь это, так сказать, измена, и я не желал бы быть в этом деле соучастником; если мисс Кольдбрук не желает, чтобы я читал ее письма, то она, вероятно, не пожелала бы, чтобы и вы их мне читали.

Дядя взглянул на меня при этом несколько укоризненно. Между тем, он все еще продолжал держать в руках развернутое письмо, пробегая глазами некоторые строки, то улыбаясь, то посмеиваясь себе под нос, то восклицая: «Как это остроумно!» «Как прелестно!» «Какая, в самом деле, милая девушка!» – как бы желая возбудить мое любопытство; но я по-прежнему оставался совершенно безучастен, и потому дяде пришлось волей-неволей умерить свой энтузиазм и отложить в сторону это письмо.

– Да, – сказал он по некотором размышлении, не лишенном известной доли недоумения, как я заметил, – я уверен, что эти барышни будут очень обрадованы нашим возвращением; в последнем письме я извещаю матушку о том, что мы вернемся осенью, приблизительно в октябре, ну а теперь окажется, что мы уже будем дома в начале июня.

– Я уверен, что сестра моя Патт будет в восторге; что же касается других девиц, то полагаю, что у них найдется такое множество знакомых и друзей, которые их теперь интересуют, что им навряд ли есть время думать о нас.

– Ты к ним несправедлив, Хегс; из их писем я вижу, что они относятся к обоим нам с живейшим интересом.

– Понятно! – воскликнул я. – Какая молодая девушка в наше время ожидает без некоторых радостных надежд возвращения пожилого и богатого друга?! – не без иронии уронил я.

Мой дядя возмутился.

– Ну, в таком случае ты, право, не стоишь ни одной из них!

– Благодарю вас, дядя!

– Твои слова не только глупы, но и дерзки, мой милый; кроме того, я думаю, что ни одна из двух тебя в мужья не пожелает, даже и в том случае, если бы ты вздумал завтра же предложить им себя в мужья.

– Я рад этому верить; в их же интересах, мне кажется, что было бы более чем странно, если бы они приняли предложение человека, которого они почти не знают, не видев с тех пор, как ему минуло пятнадцать лет.

Мой дядя рассмеялся, хотя и было видно, что он всем этим разговором сильно огорчен; так как я старика любил сердечно, то поспешил переменить тему разговора и весело стал обсуждать наш близкий отъезд.

– А знаешь, Хегс, какая у меня явилась мысль? – вдруг неожиданно воскликнул дядя; он в некоторых вещах имел нечто такое почти юношеское, что объясняется, быть может, тем, что он свою жизнь прожил беззаботным холостяком. – Мне вздумалось записаться на пароход под чужим именем, а людей наших мы можем отправить через Ливерпуль, не правда ли, это будет забавно?!

– Да, даже очень, – отозвался я, – так пусть же это будет дело решенное.

Два дня спустя наша прислуга, то есть дядин Джекоб и мой Губерт, отправились в Англию, а мы направились прямо в Гавр. У меня с дядей было большое семейное сход-

ство, и потому нас принимали без труда за сына с отцом, мистера Давидсона старшего и мистера Давидсона младшего из Мэриленда. В пути не произошло решительно ничего такого, о чем бы стоило упоминать, разве что только, перечитывая еще раз свои газеты и письма, дядя пришел к печальному заключению, что антирентическое движение приняло там, у нас на родине, гораздо более серьезные размеры, чем он предполагал вначале. Один из пассажиров, недавно побывавший в Нью-Йорке, сообщил нам, что землевладельцам положительно не безопасно появляться на своей территории, так как всякого рода оскорбления, насмешки, издевательства, личные обиды и даже смерть могли быть следствием подобной смелости со стороны землевладельца. Вне всякого сомнения, дело близится к серьезному и, может быть, кровавому кризису.

Обсудив надлежащим манером эти подробности, мы с дядей решили устроиться таким образом, чтобы согласовать наши материальные расчеты с требуемой данными условиями осторожностью.

Я поясню далее в нескольких словах, в чем именно состоял наш план: дело в том, что нам необходимо было лично побывать в Равенснесте, хотя это, конечно, могло быть опасно для нас, тем более, что сама усадьба наша находилась в самом центре поместья и добраться туда было в данный момент, при столь недоброжелательном настроении наших арендаторов, во всяком случае весьма рискованно.

Но обстоятельства благоприятствовали нам отчасти: нас ожидали не ранее осени, благодаря чему мы могли, быть может, незаметно добраться до нашего родового гнезда.

Путешествие наше с одного континента на другой продолжалось всего девять суток. В конце мая мы увидели однажды под вечер точно выплывшие из моря маяки, и вслед за ними весь красивый берег Нью-Джерси стал выплывать из-за тумана. Но вот навстречу судну выехали лоцманы, и дядя мой тотчас же договорился с одним из них, чтобы он нас немедленно доставил в город. В момент, когда мы сходили на берег, городские часы в Нью-Йорке били восемь. У каждого из нас было по собственному дому в городе, но нам не хотелось останавливаться там, прежде всего потому, что они оба были в настоящее время пусты, за исключением одного или двух слуг, которые, конечно, не приминули бы узнать нас, а этого-то нам и хотелось избежать.

Джек Деннинг, который, в сущности, был скорее нашим другом, чем поверенным, имел на Чембер-стрит небольшую холостую квартиру, а это было именно то, что нам требовалось, и потому мы с дядей направились прямо туда, избегая более шумных и людных улиц из опасения быть встреченными и узванными кем-либо из своих знакомых.

Глава IV

Толпа: Говори, говори.

Гражданин: Вы все решили лучшие умереть, чем голодать!

Толпа: Решили, решили.

Гражданин: Вы знаете, Кай Марк – главный враг народа.

Толпа: Мы это знаем, мы это знаем.

Гражданин: Убьем его, и тогда хлеб будет у нас по нашей цене.

«Политические этюды»

Надо сознаться, что Нью-Йорк хоть и большой, но жалкого вида город; меня он поразил своими резкими контрастами мраморных дворцов бок о бок с самыми жалкими деревянными лачугами и безобразнейшими тротуарами, содержащимися в страшном беспорядке. Город этот, бесспорно, может назваться выдающимся, как живое доказательство духа предприимчивости американцев, их грандиозных замыслов и массы крупных дел и денежных оборотов, но он не может стать наряду с Лондоном, Парижем, Веной и Петербургом по красоте и великолепию своего внешнего вида.

По пути дядя сказал:

– Знаешь ли, Хегс, если бы мы направились к кому бы то ни было другому, а не к Деннингу, то нам не было бы никакой надобности быть узванными прислугой, так как здесь

никто прислугу не держал долее полугода, здесь слуг меняют поминутно; но Деннинг старого закала человек, он не захочет видеть перед собой чуть не каждый день новые физиономии, и у его дверей мы, наверное, не встретим какой-нибудь ирландской рожи, как это теперь бывает почти что в каждом доме здесь.

Спустя минуту мы были уже у дверей мистера Деннинга, и я заметил, что дядя не решался дернуть звонок.

– Вызовите швейцара! – воскликнул я. – Бьюсь об заклад, это какой-нибудь вновь прибывший детина.

– Нет, нет, не может этого быть, я знаю, Джек ни за что не расстанется со своим старым негром Гарри.

Мы позвонили. Скажу здесь к слову, что хотя выражения «аристократизм» и «феодалные обычаи» встречаются у нас, в Америке, в смысле насмешки или укоризны на каждом шагу, но во всей этой стране нет ни одного такого дома, в котором бы имелся швейцар, кроме только одного казенного здания, а именно городской ратуши в Вашингтоне. Но эта великая персона, этот царственный швейцар, или portier, часто отсутствует, а в те разы, когда он не отсутствует, то его прием отнюдь и не приветлив, и не царственен.

Мы ожидали около пяти минут, наконец, дядя обратился ко мне со словами:

– Как видно, старый Гарри вздремнул на кухне у своей плиты, но надо все же постараться разбудить его. – Мы сильно постучали, и после нескольких минут нового ожидания

дверь отворилась.

– Что прикажете? – произнес этот совершенно не знакомый нам привратник, говоривший с сильнейшим ирландским акцентом.

Мой дядя даже вздрогнул, как будто перед ним стоял не человек, а привидение; наконец, он спросил:

– Дома ли мистер Деннинг?

– Так точно, дома!

– Что, он один или есть у него кто-нибудь?

– Так точно!

– То есть что же?

– Так точно, как вы изволили сказать!

– Я хочу знать: один он или есть у него гости?

– Так точно! Прошу пожаловать, они будут очень рады вас видеть. Это прекраснейший джентльмен, как вы сами изволите знать, и жить с ним, право, очень приятно, могу вас в том уверить.

– А сколько времени тому назад вы прибыли сюда из Ирландии, приятель?

– О, уж изрядно давно, ваша милость! – развязно ответил Барней. – Целых тринадцать недель!

– Ну, так идите же вперед и указывайте нам дорогу, – прервал словоохотливого камердинера мой дядя. – Вот это плохой признак, что Деннинг сменил своего старого слугу, почтенного, почтительного Гарри на эту долговязую болотную цаплю, которая взбирается по ступенькам, как будто он в

жизни своей не видал ничего, кроме веревочных лестниц.

Мы застали Деннинга в его библиотечной конторе на втором этаже; удивление его при виде нас обоих было столь велико, что он в первый момент не нашел даже слов, чтобы нас приветствовать. Впрочем, по многозначительному жесту его мы поняли, что нам советуют молчать, и до того момента пока слуга не вышел, притворив за собой дверь, не было произнесено ни слова.

– Как видно, мои последние письма вызвали вас сюда, не так ли, Роджер?

– Да, и надо полагать, что здесь произошли громаднейшие перемены, судя по тому, что мне удалось узнать и что меня, признаюсь, очень смутило, так это то, что вы расстались со своим верным Гарри и заменили его этой ирландской цаплей.

– Ах, что поделаешь, старые люди, как и старые порядки и понятия, должны умирать! С неделю тому назад скончался и мой бедный негр.

– Да, с этим, конечно, приходится мириться; ну, а теперь прежде всего позвольте мне изложить вам мое дело, а после уж поговорим и о другом.

В кратких словах мой дядя передал ему свое желание сохранить на время инкогнито и высказал ему на то свои причины. Деннинг выслушал его, как бы не зная, одобрять ему или же порицать этот прием. Обсудив его в общих чертах, решено было рассмотреть этот вопрос более основательно

впоследствии.

– Ну, а теперь скажите мне, мой добрый друг, что слышно об этом антирентистском движении, что оно, развивается или же затихает?

– По-видимому, оно как будто приостановилось, но, в сущности, оно все крепнет с каждым днем; надо готовиться теперь к тому, что эти пагубные теории и доктрины будут, пожалуй, облечены силой общеобязательного закона, став сами по себе законом.

– Но как может даже закон вмешаться в условия и договоры, уже раз существующие? Верховный суд Соединенных Штатов заставит признать нашу правоту и оградит нас от подобного насилия.

– Да, на это только и остается еще рассчитывать порядочным людям в нашей стране; но, в сущности, уже этому делу положено начало: поднят вопрос об обложении налогом ренты.

– Но ведь это акт возмутительной несправедливости, который может оправдать даже и явное сопротивление с не меньшим основанием, с каким было оправдано сопротивление наших предков по отношению к несправедливым налогам Великобритании.

– Конечно, и тем более, что ведь землевладелец уже платит известный налог с каждой фермы, который выводится из арендной платы и включен в первоначальное законное условие его с арендатором; этот поземельный налог уплачива-

ет он, то есть землевладелец; ну, а теперь думают обложить налогом еще и самую получаемую за свою землю арендную плату. И что обидно, что этот новый налог создается отнюдь не с целью увеличения общественных доходов, которые, по общему признанию, в этом отнюдь более не нуждаются, а с исключительным намерением скорее заставить землевладельца распротиться со своими поместьями.

– Но осуществится ли этот проект нового обложения налогом самой суммы ренты? Хотя, в сущности, лично нас ведь это вовсе не касается, у нас условия сделаны все на три поколения.

– Так что же из этого? На такой случай имеется новый закон, гласящий, что впредь всем землевладельцам строго воспрещается закабалять людей более чем на пятилетний срок.

– Ах, Боже мой! – воскликнул я. – Да кто же будет так глуп, чтобы вотировать такой закон с целью уничтожения ненавистного аристократизма и дать какие-нибудь преимущества арендаторам?!

– Да, да, смейтесь, молодой человек, сколько вам будет угодно, – добавил Деннинг, – а только таков проект наших законодателей.

– Но целый мир считает условия на долгий срок благодеянием и облегчением для арендатора, и изменить это никто не в силах, да и к тому, где же смысл в этом проектированном налоге? Если я с каждых тысячи долларов получаемой мною ренты заплачу по пятьдесят пять центов, как того тре-

бует от меня новый налог, то кто же может полагать, что ради таких грошевых налогов я соглашусь расстаться со своими землями, доставшимися мне от моих предков, которые вот уже пять поколений владели ими?

– Прекрасно, милостивый государь, все это прекрасно! Но я вам от души советую никогда не говорить о ваших предках; в наше время ни один землевладелец не может безнаказанно упоминать о них.

– Да я ведь говорю о них только для того, чтобы напомнить о своих правах на родительские земли и имущества.

– И это было бы, действительно, веским аргументом, если бы вы были арендатором, но у землевладельца это означает лишь аристократическую гордость, которая не может быть терпима в Америке, стране свободы.

– Право, мне кажется, – заметил дядя Ро, – что у нас весь мировой порядок вещей опрокинут вверх дном и что у нас права какой-нибудь семьи не возрастают, а уменьшаются с течением времени.

– Да, без сомнения! – отозвался Деннинг. – И хотя мне не хочется предсказывать заранее результаты вашей поездки инкогнито в ваш Равенснест, но скажу вам прямо, вам многому придется поучиться!

– Посмотрим, но вернемся еще раз к вопросу о новом налоге: так как Ренсселаров, нас и многих других богатых землевладельцев, имеющих долгосрочные контракты и условия, этот пустяшный налог, как говорит Хегс, конечно, не прину-

дит уничтожить эти условия и отказаться от своих земель, то в чем же цель этих господ, которые вотируют этот закон?

– Какая цель? Да никакой другой, как только заслужить почтенное звание друзей народа, а не друзей землевладельцев, что должно явствовать из того, что никто не станет облагать налогами своих друзей, когда, в сущности, в том нет ни малейшей надобности.

– Но что от этого выиграет та часть народа, которая представляет собою класс антирентистов?

– Да ровно ничего! И жалобы их, и их алчные вожеления останутся все те же, если только не заговорят еще громче, так как решительно ничего из того, чего они желают, не может быть осуществлено никакими законными мерами. Нет надобности скрывать от самих себя непреложную истину, что у нас ко всякому делу неизбежно примешивается такое дьявольское чувство беспощадного эгоизма, которое так превозносится и так часто призывается, что, право, каждый человек, руководствующийся каким-нибудь принципом нравственности, положительно кажется смешным.

– Да, это так! А знаете ли вы, чего, в сущности, желают арендаторы Равенснеста? – спросил мой дядя.

– Они желают получить в полное свое владение все земли Хегса и более ничего, могу вас в том уверить.

– А на каких условиях? – любопытно узнавать и я.

– На самых льготных для их пустых кошельков; понятно, впрочем, есть некоторые, которые предлагают и высшую це-

ну.

– Да я вовсе не желаю продавать свои земли ни за разумную, ни за неразумную цену. Что мне прикажете делать с вырученными деньгами? Приобрести новые земли? Но к чему же, когда я предпочитаю всякому другому поместью то, которым теперь владею!

– Вы, милостивый государь, не имеете никакого права в свободной и либеральной стране, – насмешливо возразил Деннинг, – предпочитать одну собственность другой, в особенности, когда другие имеют на нее свои виды. Ведь ваши земли арендуются честными трудящимися фермерами, которые могут обедать и ужинать и не на серебре и предки которых...

– Позвольте! – прервал я, смеясь, своего милого собеседника. – Ни один человек не вправе говорить о своих предках в такой либеральной стране, как наша.

– Да, совершенно верно, ни один человек из числа землевладельцев; но арендаторы – это особая статья, им позволяется вести свой род хоть от Мафусаила или Мельхиседека и вести свою генеалогию хотя бы через тысячи поколений, и знайте, что каждый арендатор имеет право требовать, что бы его фамильные чувства всеми были уважены; так, например, его отец насадил эти овощи, эти деревья, и ему нравятся яблоки этого сада несравненно больше всех остальных существующих в мире яблок. Дед его унаваживал, обрабатывал эту землю и сделал из нее настоящее золотое дно, а его

прадед, прекраснейший, честнейший человек, взял эту землю совершенно невозделанной, в первобытном состоянии и своими руками вырубил лес и посеял хлеб.

– За что он был вознагражден сторицей, иначе он бы за это дело не взялся! Я тоже имел прадеда, надеюсь, что это не будет чрезмерно аристократично, если я об атом упомяну, и этот прадед мой, также прекраснейший и честнейший человек, отдал другому, себе подобному прекраснейшему и честному человеку, в аренду свою землю и в продолжение целых шести лет не брал с своего арендатора ни гроша арендной платы, чтобы бедняга мог надлежащим образом обзавестись хозяйством и обжиться прежде, чем начать уплачивать владельцу столь незначительную годовую ренту, как сикспенс, или шиллинг с акра, причем земля эта оставалась за ним в трех поколениях.

– Ну, уж довольно говорить об этом! – воскликнул дядя Ро. – Всякий и так уже знает, что белое – белое, а черное – черное! Скажите-ка мне лучше, Джек, какие вы имеете известия о наших барышнях и о моей уважаемой матушке?

– Она в настоящую минуту находится в Равенснесте, а так как барышни не соглашались отпускать ее туда одну, то все они отправились туда же вместе с нею.

– Как же вы могли допустить, Деннинг, чтобы они одни поехали туда, где все кругом находится в полнейшем возмущении? – с упреком обратился к нему дядя.

– Я не поехал с ними по той простой, но основательной

причине, что не имел желания быть вымазанным дегтем и осыпан перьями³.

– Так вы предпочли, чтобы так надругались над ними вместо вас? – уже с негодованием воскликнул дядя.

– Нет, Ро, вы можете сказать все, что вам только вздумается дурного об этих мнимых друзьях и сторонниках народа и свободы, стремящихся во что бы то ни стало лишить нас всякой свободы, но даже и о них нельзя сказать, чтобы женщине могла грозить в Америке какая бы то ни было серьезная опасность, даже в том случае, если это – американцы и антирентисты или даже сами переряженные краснокожие. Не подлежит сомнению, что, в сущности, ни ваша мать, ни барышни не рискуют ничем, но тем не менее редкая женщина не побоится отправиться в среду всех этих недовольных и в душе ненавидящих ее людей. Я убежден, что женщин, обладающих такой смелостью, найдется немного в целом нашем штате, а женщин ее возраста, пожалуй, ни одной, а также и нашим молодым девушкам это делает большую честь. Вся наша городская молодежь в отчаянии от мысли, что эти три прелестных создания живут теперь в такой среде, где им ежеминутно грозят обиды и оскорбления. Ведь ваша матушка уже вызывалась в суд, вы слышали об этом, Ро?

– Вызывалась в суд?! Моя мать?! Да разве она кому долж-

³ Антирентисты позволяли себе обливать дегтем, а затем сверху осыпать пухом и перьями попадавшихся им в руки ненавистных для них людей, предварительно раздев их до гола.

на хоть грош? И что она могла сделать, чтобы навлечь на себя этот срам?

– Да ровно ничего! На днях я узнал то же и о Ренсселарах: один из них был обвинен в том, что взял займы деньги, чтобы уплатить перевозчику-лодочнику, перевозившему его на другой берег реки, протекающей у самого его дома, а его жена была призвана в суд за какой-то картофель, который она якобы покупала на улицах города Олбани.

– И что это за чушь! – воскликнул я. – Конечно, никому из Ренсселаров нет надобности у кого бы то ни было занимать деньги, чтобы заплатить какой-нибудь грош лодочнику-перевозчику, да, наконец, этот последний всегда поверил бы ему этот пятак в кредит, зная, что мистер Ренсселар заплатит ему втрое. Точно так же и ни одна из его дам не пойдет покупать на улицу картофель, так как их огромные огороды и плантации поставляют им в избытке всякие овощи и зелень.

– Вы, как я вижу, захватили с собой из Европы некоторую долю логики, но здесь у нас этот товар совсем ни к чему не пригоден. Из письма *madame* Литтлпедж мне стало известно, что на нее подали в суд за какие-то двадцать семь пар ботинок, якобы доставленных ей каким-то сапожником или башмачником, которого она никогда не видела и о котором даже никогда не слыхала.

– Так вот их новые приемы – беспокоить землевладельцев с целью заставить отказаться от своих земель!

– Именно так!

Немного погодя дядя спросил опять:

– Так моя матушка в настоящее время переехала в Равенснест, чтобы глядеть прямо в лицо врагу?

– Да, и прекрасные и благородные барышни также все три последовали туда за ней.

– Все три? Неужели и Анна Марстон тоже?

– Да, и она.

– Это меня очень удивляет: Анна Марстон, так любящая мир, тишину и спокойствие, как она не предпочла остаться со своей матерью, что было бы вполне естественно?!

– И все же она поехала в Равенснест. И вы, я полагаю, сами знаете, Ро, на что способен этот кроткий и мирный женский пол, когда они приняли какое бы то ни было решение.

– Писала ли вам моя матушка после того, как поселилась среди этих филистимлян?

– Да, три раза я получал от нее письма; зная о моем намерении посетить ее в Равенснесте, она писала мне, чтоб я туда не ехал, предупреждая, что мое присутствие может вызвать бурные сцены и не принесет никому никакой пользы. Ввиду того, что арендные платы должны быть выплачены не ранее осени и что теперь господин Хегс должен будет уж лично вступить в свои права и должен вскоре вернуться и сам заняться своими делами, я не видал никакой надобности рискнуть испробовать на своей шкуре деготь и перья.

– А Марта писала вам?

– О, прелестная Пэтти пишет мне очень часто; ведь мы с

ней издавна самые искренние друзья.

– Не пишет ли она чего-нибудь о нашем старом негре и индейце?

– Да, как же, и Джек, и Сускезус оба живы, и я даже не так давно их видел лично.

– Ведь этим старикам, наверное, более ста лет каждому; я знаю, что они участвовали в войне с французами.

– О, негр и краснокожий крепко цепляются за жизнь и очень живучи, если только они не пьяницы! Оба старца часто навещают в Равенснест, и Марта мне пишет, что честный индеец до крайности возмущен этим пошлым и недостойным маскарадом, подражающим его расе и незаслуженно порочащим ее. Я даже слышал, будто Джек поговаривает о том, что намерен со своим приятелем выступить в поход против этих ряженых. Наиболее ненавистной для них личностью является Сенека Ньюкем.

– Как, и он в числе антирентистов?

– Да, он один из главных зачинщиков всякого рода беспорядков и смут.

– Что же теперь нам остается думать об Оппортьюнити? – спросил я. – Неужели она не принимает никакого участия в этом народном движении?

– О, даже очень деятельное. Она самая яркая антирентистка, но желает оставаться в наилучших отношениях с своим землевладельцем. Это значит пытаться служить сразу двум господам: и Богу, и мамоне. Впрочем, она одна из ты-

сячи ей подобных, двуличных в этом деле особ.

– Поосторожней, Джек, наш юный мистер Хегс питает восторженное чувство к мисс Оппортюнити, – заметил Деннингу мой дядя, – вам следует быть более воздержанным в ваших характеристиках, мой милый друг. Ну, а наш современный Сенека, конечно, страшно восстает против нас?

– Сенека хочет пробраться в законодательный совет, и потому весьма естественно, что он на стороне избирателей. Кроме того, ведь родной брат его арендует вашу мельницу, да и сам он заинтересован в земле, а потому имеет желание стать собственником, точно так же, как его брат.

– Ну, полно, Джек! Займемся чем-либо другим, а именно средством пробраться в наши владения, не будучи замеченными, так как я решил бесповоротно повидать и познакомиться поближе с этими безумными людьми, впавшими в самые печальные заблуждения вследствие своей ненасытной алчности. Я хочу лично их послушать и постараться понять их поведение и их мотивы.

– Смотрите, берегитесь их бочек с дегтем и мешков с перьями! – засмеялся, поддразнивая дядю, Джек Деннинг.

Затем мы принялись основательно обсуждать на свободе этот сложный вопрос. В обычный час мы разошлись по своим комнатам, а на другое утро Деннинг принялся деятельно хлопотать для нас и о нас. В числе его знакомых было не мало людей, причастных к театру, а потому он без особого труда раздобыл для каждого из нас по парикю. Было решено, что

сэр Хегс Литтлпедж старший примет на себя, ради этого случая, роль старого немца – торговца дешевыми часами и золочеными серьгами, брошками, браслетами и тому подобными вещами, а сэр Хегс Литтлпедж младший – роль странствующего музыканта. Скромность моя воспрещает мне упомянуть о том, на что я был способен в качестве музыканта, но все же я могу сказать, что в отношении и музыки, и пения я был не без таланта.

В течение дня все было приготовлено, устроено, улажено, и я немало посмеялся, глядя на себя в своем новом наряде, стоя перед зеркалом Деннинга. Однако мы с дядей сохраняли нерушимым закон, которым воспрещалось быть переряженным и вооруженным. Мы не имели при себе ничего, кроме котомки с золочеными безделушками и часами, представлявшими собой товар дяди, и моего музыкального инструмента.

Глава V

Ее улыбки неведомы на земле; они рождаются, чтобы исчезнуть, и исчезают, чтобы возродиться вновь, они приходят и уходят, играя беспрестанно, и когда уходят, скрываются в ее глазах.

Вордсворт

На другой день я с раннего утра вырядился в свой костюм и отправился в библиотеку Деннинга, где достал там запрятанные гусли и принялся играть на них с большим одушевлением мотив гимна святому Патрику. В момент самого разгара увлечения вдруг скрипнула дверь библиотеки, и вытянувшаяся костлявая рожа ирландца Дароя просунулась в щель, разинув рот чуть не до ушей.

– Откуда это вас черт принес? – проговорил ирландец, причем мускулы как-то странно сдвигались и раздвигались, изображая на его лице не то улыбку, не то гримасу. – Да ради этой песенки вы мне желанный гость; добро пожаловать. Но каким образом попали вы сюда?

– Я прибил аус Halle in Preussen, – добродушно ответил музыкант, – а фаши фатерлянд какой?

– Да что ты жид, что ли?

– Nein! О, nein! Я тобрая христианка, котите, я фам играет янки тудель?

– Янки! Гром и молния! Да вы разбудите моего господина!

Ах, если бы не это, я бы вам позволил с утра до ночи играть то, что вы сейчас играли. Отрадно слушать этот напев здесь и вспоминать при этом, что старая Ирландия за тридевять земель отсюда!

Веселый смех неслышно приблизившегося Деннинга прервал этот диалог ирландца и принудил его удивительно быстро куда-то скрыться. И в этот день мы уже больше не видали его, так как за завтраком у стола, по приказанию Деннинга, нам прислуживал молодой мулат. Нет надобности говорить, что, очутившиеся на улицах Нью-Йорка в наших непривычных для нас нарядах, и я, и дядя, мы чувствовали себя не совсем-то удобно, а дядин сосредоточенно серьезный вид до крайности смешил меня.

На пароходе мы заняли довольно приличную каюту под предлогом сохранить в целости дядюшкины товары. Затем мы принялись бродить по палубе, шныряя между пассажирами с тем удивленно любопытным видом, который и приличествовал нашему теперешнему положению.

– Я уже видел около дюжины знакомых, – весело сообщил мне дядя, – и сейчас только разговаривал с четверть часа со своим бывшим школьным товарищем; никто меня не узнает! Я даже убежден, что в этом виде меня и матушка моя не сумеет узнать.

– Тем лучше, дядя, – подхватил я, – мы можем воспользоваться этим, чтобы пошутить и с нашими домашними, когда мы доберемся до Равенснеста. Что касается меня, то я лично

того мнения, что нам следует сохранить нашу тайну вплоть до последнего момента; это будет забавнее и притом много осторожнее.

– Молчи! Вон идет и сам Сенека Ньюкем! Смотри, ведь он идет прямо сюда.

Действительно, то был Сенека, он шел медленно, приближаясь к носовой части судна, где стояли мы. Дядюшка вздумал вступить с ним в разговоры с намерением выпытать у него кое-какие сведения, которые бы облегчили нам предстоящее путешествие в Равенснест. С этой целью мнимый торговец достал из своей котомки дешевые часы и робко предложил их молодому судье со словами:

– Купить, пожалуйста, этот часи, mein Herr!

– Хм! Что такое?! Часы? – небрежно кинул Сенека таким пренебрежительно надменным тоном, который сразу выдает пошлую напыщенность по отношению к низшим себя и бессильную злобу ко всему, что выше. – Аа, так это у вас часы! А откуда вы сами, приятель, из какой страны?

– Меня быть немца, ein Deutscher!

– А, немец!.. Ну, да, а ейнэ Тейтшер – это, вероятно, то местечко или город, откуда вы родом?

– Oh, nein, nein!.. Ein Deutscher – это быть немец.

– Да, да, теперь я понимаю. А сколько времени вы в Америке?

– Твенадцать месяцц.

– Так давно! Да этого срока почти достаточно, чтобы за-

числить вас американским гражданином; где вы живете?

– Никте, mein Herr! Мене шивет, где мене есть сей минут, сейчаси стись, сейчаси там.

– А, понимаю, вы не имеете постоянного местопребывания; ведете, так сказать, кочующую жизнь. Много у вас этих часов?

– У меня есть такой двадцать штуки и дешево как песку и смотрит тошно часи на городской Rathhaus.

– Что вы хотите взять за эти?

– О, dieses hier? Ви мошет имейт фюр восем доллар; всякий фам будут сказать, это самый настоящий золотой.

– А, так они не золотые? Ведь вы и меня чуть было не провели! Не уступите ли вы их мне подешевле?

– О, я думал, это будет мошно, если mein Herr мене давайт одна добри совети.

– О, что касается добрых советов, то я всегда готов служить! Но отойдите же немного в сторону, чтобы нам можно было говорить наедине. Какого рода ваше дело? Вам требуется, может быть, взыскать убытки или же есть у вас в суде какое-нибудь дело?

– Nein, nein!.. Мене нет никакой процесс, мене шелал полушить одна совети.

– Ну, да, совет часто влечет за собой процесс!

– Та, та... – весело засмеялся торговец, – это бувайт, aber мене кошет просить у ви, кде есть такой место, мене хорошо продавайт моя товара, часи и разни вешш, ни большая город,

а кте такой теревни?

– Да, да, я понимаю. Так вы говорите, что хотите мне уступить эти часы за шесть долларов? Хм! Это недешево за такой хлам, но все равно я друг бедняков и презираю аристократию.

Сенека воображал, что презирает то, что, в сущности, он просто ненавидел. Аристократами он называл огульно всех истинно порядочных людей.

– Я всегда готов быть полезен каждому хорошему доброму человеку, и если вы согласны уступить мне эти часы за даром, то полагаю, что сумею вам указать такое место, где вы остальные девятнадцать выгодно продадите менее чем за неделю.

– Ну, пускай будет, как ви шолает, берет его, – он була ваша, но показывайт мене того город, где я бул продавайт моя товары.

– Так решено! Я оставляю у себя эти часы, как вы того желаете, а вам взамен я укажу то место, где вы сумеете продать все остальное.

– Так, так! Что я шелает это одна совета, а вы шелает одна часи! – весело рассмеялся дядя.

И с этого момента мы оставались с Сенекой в отличных отношениях. В течение всего остального пути он нас при встрече каждый раз награждал покровительственными взглядами и улыбками, ясно свидетельствовавшими о том, что, несмотря на его крайне демократические принципы, он

все же не желал ставить себя на одну доску с людьми, по его мнению, стоявшими ниже его. Но тем не менее, прежде чем расстаться с нашим судном, он дал нам несколько советов и условился с нами, где нам должно встретиться на следующее утро, и почти дружески простился с нами, когда мы, наконец, остановились у мола города Олбани.

Олбани – город весьма привлекательного вида; но, в сущности, он не что иное, как небольшой провинциальный городок. Со своими гусями под мышкой я брел следом за дядей, который тут же, по дороге, прежде чем мы успели добраться до заезжего дома, продал одну пару часов.

Понятно, что мы не направились к одной из лучших гостиниц, где бы нас, вероятно, не приняли в таком виде, в каком мы странствовали теперь, а обратились в какую-то второстепенную гостиницу, где, как и следовало того ожидать, мы чувствовали себя довольно плохо, в качестве людей, привыкших ко всякого рода изысканному комфорту.

На другое утро мы взяли билет на ту железную дорогу, которая идет на Саратогу, через Трою. Какому классику пришлось на мысль вызвать в этих местах воспоминания о старике Гомере? – спрашивал себя я каждый раз, бродя по улицам этого веселенького городка. Тени погибшего Ахиллеса, Гектора и Гекубы смущали мой душевный мир.

Именно в этой современной американской Трое я дебютировал в качестве кочующего музыканта под окнами главной гостиницы этого города. Хотя о моем инструменте нель-

зя сказать ничего лестного, но тем не менее сам музыкант, как видно, был не лишен таланта, так как вскоре в окнах гостиницы показалось около десятка разных лиц, и в том числе особенно остановили на себе мое внимание отец и дочь, судя по фамильному сходству молодой девушки и пожилого господина.

Отец, как видно, принадлежал к духовному сословию. В приятном, добродушном лице его я прочел нечто похожее на любопытство, которое заставило меня подойти ближе. Я сделал несколько шагов, чтобы приблизиться к окну, а затем господин этот сделал мне знак, приглашая меня войти в гостиницу. Признаюсь, мне с непривычки показалось странным, что меня приглашают, и я готов был не исполнить желания старика, но во взгляде светлых глаз и во всей позе и манерах молодой девушки было нечто такое, что против воли заставило меня войти, и я повиновался. Девушка эта, будучи, в сущности, очень хорошенькой, обладала, однако, такой красотой, которую нельзя было назвать блестящей, бьющей в глаза; но выражение ее лица, улыбки, глаз, все это придавало ей какую-то необычайную прелесть кротости, нежности и чисто женской грации, которая как-то сразу привлекла все мои симпатии. Вскоре я очутился в зале гостиницы, но в этой зале в данный момент не было никого, кроме молодой девушки и ее отца.

– Войдите, молодой человек, войдите, – ласково заговорил ее отец, – меня заинтересовал ваш инструмент; скажите,

как вы его называете?

– Гусли, – ответил я.

– А-а... ну, а откуда вы сами? Если не ошибаюсь, вы иностранец?

– Я ис немецкой сторона аус Прейссен, где король Кениг Вильгельм управляет.

– Что он говорит, Молли? – переспросил отец.

Итак, эта прелестная девушка звалась Молли, то есть Мария! И как мне нравилось это простое уменьшительное имя Молли! К тому же, в наше время это положительно признак хорошего происхождения и хорошей семьи, когда у девушки обыкновенное, невычурное имя; в другой семье ее бы непременно назвали «Мелисса» или «Миранда».

– Это понять не трудно, – возразил голос, подобного которому я в жизни своей еще не слышал; то был необычайно нежный, музыкальный, певучий голос, казавшийся еще прелестнее от легкой вибрации сдерживаемого смеха. – Он говорит, что прибыл из Германии, из Пруссии, где царствует добрый король Вильгельм.

– А этот инструмент называется гусли? Что здесь написано, вот на этой дощечке? – продолжал любопытствовать отец молодой девушки.

– О, это был насфание фабрикант; Хохштейль fecit.

– Fecit! – возразил почтенный господин. – Это слово не немецкое.

– О, nein, nein, это быть Latein facio, feci, factum, facere

feci, facisti, fecit. Это значит сделал, вы знает?

Пастор взглянул на меня с удивлением, окинул взглядом мой наряд, переглянулся с дочерью и улыбнулся.

– Вы умеете по латыни? – спросил он.

– О, немношки, очень немношки. В моя родин кашдая шеловек долшна быть зольдат на фрема, а хто понимала латейн, тот мошно быть делайт сержант и капорал.

– У вас многие изучают латынь? Я слышал, что в Венгрии все образованные люди знают этот язык.

– Ми все ушил чего-нибудь, но ми ушил не всякий вешш.

При этом я заметил, что легкая улыбка скользнула на губах прелестной девушки, но она тотчас же поспешила согнать ее с лица, хотя в глазах ее во все время этого нашего свидания не пропадало выражение веселого и добродушного лукавства.

– Да, я знаю, что в Пруссии прекраснейшие школы, и правительство ваше очень следит за нуждами всех классов населения; но все же я не могу достаточно надивиться на то, что вы так основательно изучали латынь. Даже у нас, где все так хвастаются и гордятся...

– Oh, ja! – воскликнул я. – В этой земля все очень много хвастает, все хвастает...

Мэри на это рассмеялась от души, почти по-детски, но ее отец сдержанно выждал, когда я кончу свои слова, и продолжал:

– Вот видите ли, я хотел сказать, что у нас, где все гор-

дятся своими школами и тем благотворным влиянием, какое они оказывают на умственное развитие народа, весьма редко встретите вы людей вашего сословия, изучавших мертвые языки.

– О, это быть мое созловие, вас удивляет! Мой папаша быть короши дшентелэмэн, она мене давал такой обрасофания, какая Кениг наша давайт свой кениглихен принц.

Желание казаться в глазах Мэри выше, чем того можно было ожидать, судя по моему наряду, вовлекло меня даже в некоторую неосторожность. Конечно, я нимало не затруднился объяснить, каким путем молодой человек, получивший образование, столь же блестящее, как и принц крови, вдруг дошел до того, что ходит со своими гусями по улицам американской Трои. Мысль быть в глазах этой прелестной девушки человеком из низшего класса и без всякого образования казалась для меня положительно нестерпимой. Своей, не совсем-то правдоподобной, но все же возможной историей я спас себя от этого стыда и даже мог заметить, что после моего рассказа отец и дочь относились ко мне с еще большим участием и доброжелательством; в особенности в чудных глазах Мэри я читал глубокое сочувствие, и это несказанно радовало меня.

– Но, если так, мой молодой приятель, – продолжал отец молодой девушки, – то вам следует, и даже весьма возможно, добиться здесь лучшего положения, нежели то, какое вы занимаете сейчас. Например, греческий язык вам сколько-ни-

будь знаком?

– Да, да; гретшеский много ушить в немецкая сторона.

– А новейшие языки не изучали?

– Я говорит на пять главныя языки Европа.

– На пяти главных языках, какие же это, Мэри? – обратился он к дочери!

– Я полагаю, что это французский, немецкий, испанский и итальянский.

– Но ведь это всего четыре, а пятый-то какой?

– Баришни позабыл английски, английски это быть пяти.

– Ах, да, английский! – не без лукавства, как бы спохватясь, воскликнула плутовка, закусив губу, чтобы не рассмеяться мне в лицо.

– Действительно, я позабыл английский, но это потому, что мы привыкли считать этот язык не исключительно европейским. Но я полагаю, что английским вы владеете менее свободно, чем остальными?

– Oh, ja!

Молодая девушка не в силах была подавить мимолетную улыбку.

– Я вам, как иностранцу, очень сочувствую и весьма сожалею, что встретил вас в пути с тем, чтобы снова потерять из виду, и потому ничем не могу быть вам полезен. Куда же теперь лежит ваш путь, мой молодой германец?

– Теперь я ехать буду в одно место – Равенснест, корошо мест, где продавайт часы.

– Как в Равенснест? – переспросил отец.

– В Равенснест? – повторила за ним Мэри.

– Ведь Равенснест то самое местечко, где мы живем, ведь это мой приход, в котором я состою священником епископальной и протестантской церкви, – пояснил мне мой приветливый собеседник.

Итак, я видел перед собой мистера Уоррена, священника, вступившего в исполнение обязанностей приходского священника в нашей родовой церкви святого Андрея в Равенснесте как раз в то время, когда я уехал из Америки. Марта часто упоминала в своих письмах о нем и о его дочери. Сам мистер Уоррен был человек из хорошей семьи и с всесторонним образованием, но без средств. Он стал священником по призванию и против желания своей семьи, которая совершенно отвернулась от него с того времени, но он не унывал, находя счастье в своем ребенке, которого любил со всей нежностью одинокого отца. Из писем Марты было известно, что мистер Уоррен вдов, а Мэри, его единственное дитя, что он человек до крайности религиозный, простого сердца, с сильной волей и проницательным умом, любивший ближнего столько же в силу принципа, сколько и по внутреннему сердечному влечению.

О дочери его сестра писала мне, что это девушка необычайно милого характера, скромная, кроткая и большая умница, получившая прекрасное образование и украшавшая своим присутствием не только дом своего отца, но и весь Ра-

венснест.

Марта писала, что пребывание в этом старинном родовом гнезде стало для нее вдвое приятнее с тех пор, как с ними по соседству поселилась прелестная Мэри Уоррен. Порою мне казалось даже, что эта девушка ей больше по душе, чем обе воспитанницы дяди, которые, по правде говоря, тоже были милы и хороши, каждая в своем роде.

Все эти воспоминания с быстротой молнии проносились у меня в мозгу, в то время, как мистер Уоррен мне дал понять, кто он такой.

– Как это странно! – вымолвил он. – Что может вас привлекать в Равенснесте?

– Они сказала моя дядя, это короша место – продавайте часы.

– А, так у вас есть дядя? Ах, да, я, кажется, его и вижу, он как раз предлагает какому-то господину часы. Ваш дядя – такой же лингвист, как вы, и получил такое же образование, какое, по вашим рассказам, получили вы сами?

– О, да, да! Он была немного больше и дшентельмэн, чем та господин, котори покупайт сейчас часы.

– Это должно быть, те самые два... два господина, о которых нам говорил мистер Ньюкем, которые имели намерение посетить наш Равенснест.

– Да, ты права, тем более что мистер Ньюкем нам говорил, что они должны встретиться именно здесь, в Трое, и что затем мы вместе должны будем отправиться до Саратоги. А

вот идет сюда и Оппортюнити Ньюкем, вероятно, и брат ее здесь где-нибудь поблизости.

Действительно, почти в ту же минуту в комнату вошла моя бывшая хорошая знакомая Оппортюнити Ньюкем.

Ее походка и манера отмечались какой-то деланной небрежностью, которую она, как видно, принимала за достоинство, и вся ее фигура дышала самонадеянностью и самодовольством.

Одну секунду я боялся быть узнанным ею; мне казалось, что ее страстное желание стать владелицей всех богатств Равенснеста и столь усердное старание увлечь меня в свои сети должны были настолько ознакомить ее со всеми даже неуловимыми особенностями моего лица, что это сразу помогло бы ей узнать меня даже и в этом странном наряде. Но опасения мои оказались напрасными, эта девица даже не обратила на меня никакого внимания.

Глава VI

О! Она несла свою голову с такой гордостью и так надменно заставляла колыхаться перо на своей шляпе! Видели ли вы когда-нибудь более блестящую пастушку, бегающую, смеясь, по зеленому лугу?

Аллан Куннингам

– Ах, какие прелестные французские виньетки! – воскликнула Оппортюнити, подбегая к столу, на котором были разложены лубочные раскрашенные картинки, изображающие главнейшие добродетели в образе тучных женщин с необычайно мясистыми, обнаженными руками. Под этими картинками красовались французские надписи: *La vertu, la solitude, la charite*, которые она, не без некоторого самодовольства, тотчас же бойко перевела на свой родной язык. Из писем мне уже была известна эта новая претензия мисс Оппортюнити на знание французского языка, которым, в сущности, она владела далеко не в совершенстве. Я не мог удержаться улыбки, по случаю этих *grands-airs'*ов m-lle Ньюкем; Мэри, позволившая себе ту же безмолвную критику на ее счет, случайно встретилась со мной глазами, прочла в них ту же мысль. Эта случайность несказанно радовала меня, она как будто устанавливала между нами род тайного сообщничества, которое мне было как-то особенно приятно. Между тем Оппортюнити, довольная тем, что успела выказать свои

знания во французском языке, обернулась в мою сторону, чтобы разглядеть мою физиономию, но, очевидно, она осталась не совсем довольна своим осмотром, так как, момент спустя, она подвинула себе стул, села ко мне спиной и принялась выкладывать свои новости, не обращая ни малейшего внимания на мою особу, ни даже на желание и вкусы своих собеседников. Ее резкий, самонадеянный тон, манера говорить отрывисто и непоследовательно – все это как-то резало мне ухо. Признаюсь, что лично я вижу несравненно больше прелести для женщины в приятном, мягком звуке голоса, в манере говорить сдержанно и красиво, чем даже в самой красоте. И эти впечатления удерживаются дольше, сильнее действуют на наши нервы и даже находятся в тесной связи с самим характером данной личности. В наше время распушенности и привычек, и речей, и вольности, и непристойной развязности манер и обращения – манера говорить более, чем что-либо, характеризует воспитанного и действительно порядочного человека.

– Сенн, право, создан лишь для того, чтобы приучать людей к терпению! – досадливо воскликнула Оппортюнити. – Через каких-нибудь полчаса мы должны выехать из Трои. Мне надо сделать здесь еще несколько визитов к mademoisell'ям: Джонс, Лебрен, Леблан, Левер и несколькими другим, а я никак не могу его дожидаться!

– Но отчего же вам не пойти одной? – возразила Мэри. – Отсюда до большинства ваших приятельниц всего каких-ни-

будь несколько сот шагов, и вы никоим образом не рискуете заблудиться. Впрочем, если вы никак не решаетесь идти без провожатого, то, если желаете, я могу пойти с вами.

– О, я, конечно, не заблужусь здесь! Я воспитывалась не в Трое, чтобы могла заблудиться на улице. Но согласитесь, что это так странно видеть молодую девушку на улице одну без кавалера! Я не желала бы даже пройти по комнате без кавалера, а уж тем более по улице. Нет, если Сенн не вернется вскоре, я не буду иметь возможности повидать моих подруг. Выйти на улицу без кавалера! Я никогда этого не сделаю!

– Не желаете ли, чтобы я вас проводил, m-lle Оппортюнити? – предложил мистер Уоррен. – Я был бы очень рад оказать вам услугу.

– О, Боже! Мистер Уоррен, неужели вы в ваши годы еще мечтаете разыгрывать роль кавалера? Ведь всякий сразу видит, что вы духовное лицо, и в таком случае я могла бы точно так же пойти одна. Арамента мне еще недавно писала самым настоящим образом, чтобы я никогда не проезжала через Трою, не повидавшись с ней, а Кэтрин Кикимильд мне говорила, что вовек мне не простит, если хоть раз пройду мимо ее порога. Но Сенн, он так же мало интересуется моими подругами, как и нашим молодым патроном. Я готова поклясться, мистер Уоррен, что Сенн непременно сойдет с ума, если антирентистам не удастся осуществить их планы; поверите ли, он с утра до ночи только и делает, что говорит о рентах, об аристократии, о феодальных правах и обычаях.

И я, и Мэри, да отчасти и сам пастор, мы не могли сдерживать слабой улыбки, слыша грубую ошибку этой высокообразованной особы на слове «феодалный»; но ошибка эта не имела большого значения, так как, в сущности, м-лле Ньюкем отлично понимала значение этого слова.

– Ваш брат занимается, очень естественно, самым насущным вопросом данного времени, имеющим громадное значение для той общины, членом которой он состоит. От решения этого вопроса, несомненно, зависит, по моему мнению, вся будущая нравственность и будущая судьба Нью-Йорка.

– Я, право, удивляюсь, я едва верю своим ушам, слыша от вас такие вещи, ведь вы слывете человеком, крайне враждебным этому движению. Сенн уверяет, что все идет прекрасно, что он убежден, что арендаторы добьются своего и получат земли во всем штате Нью-Йорк; по его словам, этим летом у нас в Равенснесте будет множество индейцев, и что приезд старой госпожи Литтлпедж страшно взволновал умы всей окрестности.

– Но почему же ее приезд мог быть причиной подобного волнения умов? Что тут такого странного или необычайного, что эта уважаемая женщина вздумала провести лето в поместье своего родного внука, в том доме, где она провела лучшие годы своей жизни?

– О, да ведь вы – епископальной церкви, а все мы знаем, какого мнения придерживаются в этом вопросе последователи епископальной церкви; что же касается лично меня, то,

право, я не вижу, чем Литтлпеджи лучше Ньюкемов и уж ни в коем случае не лучше вас. Так почему же они требуют от правительства больше, чем другие?

– Я убежден, что они ничего более других не требуют не от правительства, ни от закона и уж, наверное, получают гораздо меньше.

– Сенн говорит, что положительно не видит причины, почему он обязан платить ренту господину Литтлпеджу, а не Литтлпеджам.

– Мне очень грустно слышать, что ваш брат не видит достаточной причины, почему именно это так, а не иначе; ведь ваш брат пользуется землей, принадлежащей мистеру Литтлпеджу, вот почему он должен платить ему за его землю, а если бы господин Литтлпедж пользовался землей вашего брата, то, конечно, платил ту же ренту вашему брату.

– Но почему же эти Литтлпеджи, которые ничем не лучше нас, из рода в род, из поколения в поколение остаются нашими владельцами? Пора чтобы все это изменилось! Все-му конец бывает.

– Да, давно пора, – как видно, не без лукавства, стараясь подавить улыбку, поддакнула ей Мэри, – чтобы кое-что изменилось.

– О, вы так дружны с этой Мартой Литтлпедж, что я не придаю никакого значения тому, что вы думаете, если говорите на этот счет. Но что правда, то правда! Я не имею никаких причин жаловаться на молодого Хегса Литтлпеджа; он

то во всяком случае не задирает нос и не считает себя выше других.

– Мне кажется, никто из семьи не заслуживает подобного упрека, – заметила Мэри.

– Ах, что вы! Как можете вы говорить такие вещи! Эта Марта Литтлпедж до крайности антипатичная особа со всем своим несносным и глупым чванством.

– Но я желал бы знать, какие основания вы имеете, m-lle Ньюкем, чтобы быть такого мнения об этой молодой девушке?

– Ах, Боже мой, да все же в один голос так отзываются о ней; если бы эта маленькая Марта Литтлпедж не считала себя выше и лучше других, то она поступала бы, как остальные, а не держалась особняком от всех.

Мистер Уоррен хотел на это возразить, но приход Сенеки прервал на этом месте разговор. Я не мог не заметить, что он вошел в шляпе и все время не снимал ее с головы, несмотря на присутствие двух молодых девушек и такого почтенного лица, как мистер Уоррен.

Как того надо было ожидать, Оппортюнити не преминула пробрать порядком брата за его неготовность играть роль кавалера при ее особе; но все ее слова пропали даром, так как он, по-видимому, не обращал на них никакого внимания. Сенека казался очень в духе и, расхаживая взад и вперед по комнате, с довольным видом потирал руки.

– Как видно, происходит нечто такое, что очень радует

нашего Сенна. Я бы желала, Мэри, чтобы вы заставили его сказать, в чем дело, вам-то он ни в чем не откажет.

Трудно себе представить, насколько это замечание неприятно подействовало на меня. При одной мысли, что Мэри Уоррен могла иметь какое-то влияние на такого человека, как Сенека Ньюкем, огорчало меня более, чем я могу сказать. Я внутренне желал, чтобы Мэри с негодованием отстранила от себя это обращенное к ней воззвание и намек, но нет! Она при этом не выразила ни удовольствия, ни негодования, и на ее лице я не прочел решительно ничего, кроме полнейшего холодного равнодушия.

– Да, – заговорил Сенека помимо всякой просьбы со стороны молодой девушки, – да, есть нечто такое, что меня очень радует, и я, пожалуй, даже буду доволен, если и мистер Уоррен о том узнает. Дела наши идут прекрасно, и вскоре антирентисты добьются всего, чего они желают.

– Но я желал бы быть уверен в том, что они добьются лишь того, что им следует по праву! – вставил свое слово мистер Уоррен.

– Мы с каждым днем набираем больше силы в среде политических деятелей; теперь уж обе партии заискивают перед нами, и недалеко уже то время, когда самый смысл наших основных постановлений проявится в полной своей силе.

– Мне весьма приятно это слышать, так как в духе наших основных постановлений закона лежит стремление к подавлению всяких незаконных вожделений, безграничного эго-

изма и всякого рода мошенничества и вымогательства, и к поощрению всего, что справедливо и строго законно! – заметил почтенный пастор.

– А-а – вот и мой приятель, торговец всякого рода золотыми безделушками! – вдруг выкрикнул Сенека, раскланиваясь с моим дядюшкой, который, со шляпой в руках, почтительно остановился у порога общей залы. – Войдите, войдите, мистер Давидзон, позвольте вас познакомить с нашим достопочтимым священником мистером Уорреном; а вот и мисс Уоррен и m-lle Оппортюнити Ньюкем, моя сестра, которая, конечно, будет очень рада взглянуть на ваши безделушки.

Дядя вошел и поставил на стол свой ящик, вокруг которого сгруппировались все присутствующие.

Между тем Сенека продолжал начатый им разговор.

– Да, мистер Уоррен, я почти уверен, что мы теперь добьемся, что более не будет существовать никаких привилегированных каст, по крайней мере, во всем штате Нью-Йорк.

– Конечно, это будет громадной победой над всякого рода злоупотреблениями, – заметил все так же невозмутимо священнослужитель, – поскольку до сих пор все те, которые более всего исказили истину и более других способствовали распространению всякой лъстивой лжи, пользовались в Америке неслыханными преимуществами.

Сенека, по-видимому, был не совсем доволен этим оборотом разговора, но, очевидно, он успел уже привыкнуть к

правдивости мистера Уоррена.

– Но все же я полагаю, что вы не станете отрицать того, что в настоящее время среди нас существует привилегированный класс людей?

– О, да, конечно, с этим нельзя не согласиться, так как это уж слишком очевидно.

– А если так, то я был бы вам очень благодарен, если бы вы мне назвали этот класс людей для того, чтобы я мог судить, согласуются ли наши мнения.

– С моей точки зрения, демагоги представляют собою у нас очень привилегированный класс; редакторы различных газет и журналов образуют другой привилегированный класс, который позволяет себе такие неслыханные вещи в наше время, которые противны всякому закону, закону государственному и закону приличий, противны чувству справедливости, противны всякой истине и нагло попирают самые священные права своих граждан. Самовластие этих двух классов неизмеримо велико, и, как во всех подобных случаях, где слишком много власти и никакой ответственности, оба эти класса страшно злоупотребляют своей силой.

– Ну, в таком случае я с вами не согласен. Я называю привилегированным классом у нас класс тех людей, которые не довольствуются разумным и лично им потребным количеством земли, а желают обладать ею в несравненно большем количестве, чем остальные их соотечественники.

– Я положительно не знаю никаких таких привилегий, ко-

торами бы пользовались землевладельцы преимущественно перед всеми остальными.

– А вы не называете это привилегией, что один какой-нибудь человек имеет право владеть всеми землями, находящимися в пределах целой общины! Ну, а по-моему, так это такого рода преимущество, которое никоим образом не может быть терпимо в свободной стране. Другие тоже желают иметь свои земли, как и ваши Ван-Ренсселары и ваши Литтлпеджи! Зачем у них должно быть то, чего у меня нет?

– Да, но в таком случае всякий, кто имеет чего-либо больше, чем его сосед, может быть назван привилегированным. Даже и я, при всей своей бедности, тоже имею такого рода преимущества, каких вы не имеете, мистер Ньюкем; я имею в виду подрясник и два облачения и еще несколько тому подобных вещей, которых вы не имеете. И мало того, я еще имею право надевать эти вещи, а вы, даже и в том случае, если бы вы их приобрели, не могли бы надеть их без того, чтобы не стать смешным в глазах людей.

– О, да, это такие привилегии, за которыми никто не гонится; на что мне ваши подрясники и ваши облачения?! Да и то, если бы я захотел, то взял бы, нацепил на себя все эти ваши подрясники, потому что, в сущности, закон этого нам не воспрещает.

– Нет, извините, закон воспрещает вам надевать мои вещи без моего согласия и разрешения.

– Ну, хорошо, не будем спорить о таких вещах. Я не имею

ни малейшего желания наряжаться в ваши подрясники и облачения.

– А, в таком случае я вас понимаю! Вы называете привилегией, которая не может быть допущена законом, только обладание тем, что вы желали бы иметь сами.

– Нет, право, мистер Уоррен, мы, кажется, никогда не споримся с вами по этому вопросу об антирентизме, и я весьма сожалею об этом; мне бы особенно хотелось быть одного мнения с вами (при этом он многозначительно взглянул на Мэри). Но, увы, я стою за принцип прогресса и движения, а вы – за принцип застоя.

– Да, я консерватор, мистер Ньюкем, во всех тех случаях, когда движение и прогресс выражаются в том, чтобы отнять у человека то, чем он владеет по праву и на законном основании, и отдать кому-бы то ни было, лишь бы только не тем, кто на эту собственность имеет право. Нет, за такой прогресс я не могу стоять.

– Очень, очень жалею, но в этом вопросе мы не можем сойтись с вами, мистер Уоррен. – Затем, обращаясь к моему дяде тем тоном самодовольного превосходства, в который так легко впадают люди, мало воспитанные, Сенека продолжал: – Ну, а вы, друг Давидзон, что вы на это скажете? Стоите вы за ренту или против ренты?

– Oh, ja, mein Herr! Я всегда говорит – на тебе плата, когда я уехал от какой дом, кфартир и сад; короша чесна шеловеки всегда любил платить своя долги, – плотить мне карошо,

ошень карошо – это всегда надо.

Ответ этот невольно заставил улыбнуться священника и его дочь, а мисс Оппортюнити как-то громко и шумно засмеялась по этому поводу.

– Нет, как хочешь, Сенн, а тебе ничего не удастся поделаться с твоим новым приятелем голландцем, ведь он тебе говорит, что ты обязан платить ренту! Ты слышишь?! Ха, ха, ха!..

– Я полагаю, что господин Давидзон не совсем хорошо понимает, в чем дело, – сказал Сенека, – насколько мне помнится, вы говорили, что приехали в Америку с тем, чтобы пользоваться светом просвещения и благами либерального правительства, не так ли?

– О, ја! Дфорянстви и фэодале привилегии это быть все это корош сторона, где шесна чиловек мошно имеют то, что он достал – и можно сохраняйт всегда, и кто у него не отымайт, что быть его собственность... да, ја, вот што я говорила.

– Ну, да, теперь я вас прекрасно понимаю; вы прибыли сюда из такой страны, где богачи вырывают изо рта кусок у бедняка и жиреют за его счет, с тем, чтобы поселиться в стране, где закон равен для всех и все равны перед законом, где вскоре ни один гражданин не посмеет похваляться своими владениями и поместьями и тем самым оскорблять тех, у кого их нет. Вы слишком много насмотрелись в Европе на зло, причиняемое дворянством и гнетом феодализма, чтобы желать увидеть то же самое и здесь!

– Oh, ja! Дворянства и феодале привилегии это быть совсем не хорошо! – угрюмо произнес мнимый Давидзон.

– А-а! Я был уверен, что вы такого мнения; вот видите ли, мистер Уоррен, не один человек, проживший некоторое время под гнетом феодальной системы, не может иначе относиться к ней.

– Да, но какое нам-то дело до феодальной системы, мистер Ньюкем? Что общего между нашими землевладельцами и феодальным дворянством Западной Европы, между нашими арендными условиями и феодальными повинностями?

– Как, что общего? Да все... помилуйте, да между тем как наше правительство само предписывает нам перерезать друг другу горло...

– Да полноте же, мистер Ньюкем, – прервала его Мэри Уоррен, – наше правительство, напротив того, предписывает не перерезать друг другу горла.

– Нет, вы меня не понимаете, мисс Мэри, но я уверен, что мы вскоре и вас, и батюшку вашего превратим в самых искренних антирендистов. Вы говорите, какое сходство между нашими землевладельцами и феодалами, да не то ли же самое, когда наши вольные и честные арендаторы обязаны платить им дань за право жить на той земле, которую они сами возделывают в поте лица.

– Но, мистер Ньюкем, – сказала не без некоторой мягкой иронии Мэри Уоррен своим обычным ровным спокойным тоном, – ведь вы сами тоже сдаете в аренду земли, которые, в

сущности, даже не ваши, но которые вы арендуете у мистера Литтлпеджа.

Сенека был, видимо, пойман врасплох; прокашлявшись слегка, скорее для того, чтобы собраться с мыслями, чем для того, чтобы прочистить голос, он, наконец, нашел ответ.

– Вот в этом-то и есть одно из зол настоящей арендной системы, мисс Мэри. Вот если бы я был владельцем этой земли, то те два-три поля, которые я бы не в состоянии был обработать сам, я бы мог их продать другому, а ведь теперь это для меня совершенно невозможно, так как я не могу располагать по своему усмотрению этими землями. И вот едва только умер мой дядя, как и все эти земли, мельницы, фермы, леса и все остальное отойдет обратно к молодому Хегсу Литтлпеджу, который теперь жуирует, катаясь по Европе. Вот тоже одно из зол нашей феодальной системы: оно позволяет одному человеку, проводя жизнь в лени и бездействии, растрачивать свое состояние и доходы по границам, тогда как другие принуждены сидеть у себя по домам да гнуть спины над плугом да над тачкой.

– Что касается меня, папаша, – вставила свое слово Мэри, – то я нахожу весьма странным, что наши власти не предусмотрели в своих постановлениях того, о чем сейчас только упомянул мистер Ньюкем; действительно, ведь крайне обидно, что мистер Сенека Ньюкем не имеет права продавать, смотря по своему желанию, земли мистера Хегса Литтлпеджа.

– Я не столько возмущен этим, – поспешно продолжал Сенека, не заметивший иронии в словах молодой девушки, – я не столько возмущен этим, мисс Мэри, как тем, что все мои права на эти земли должны прекратиться со смертью моего дядюшки. Относительно этого вы должны согласиться, мисс Мэри, что это очень обидно.

– Ну, хорошо, но предположим, что ваше арендное условие продолжалось бы еще несколько лет, ведь вам пришлось бы платить опять ренту!

– О, я на это не стал бы жаловаться. Если бы мистер Деннинг хотя на словах обещал, что нам возобновят наш контракт на тех же условиях, я не сказал бы ни слова.

– Так вот вам первое доказательство того, что эта наша теперешняя система имеет свои хорошие стороны и свои выгоды, – весело заметил мистер Уоррен. – Я очень рад, что слышу от вас, что среди этого денежного класса есть люди простого слова, которого вполне достаточно, чтобы всякий положился на него, как на документ. Надеюсь, что такой хороший пример не пропадет даром. Кроме того, мистер Ньюкем сейчас, сам того не замечая, сделал очень отрадное для меня признание своей готовностью и желанием возобновить оканчивающийся контракт на тех же условиях. Он доказал, что контракт этот был для него выгоден.

Несмотря на то, однако, что слова эти были сказаны очень просто, они сильно кольнули Сенеку Ньюкема. Чтобы выйти из затруднительного положения, он перевел разговор на

другой предмет.

– Однако я убежден, что вы, мистер Уоррен не можете считать приличным, какого бы мнения ни была на этот счет мисс Мэри, это торжественное украшение, этот громадный балдахин, осеменяющий места семьи Литтлпедж в церкви святого Андрея в Равенснесте. Его обязательно следовало бы убрать и уничтожить.

– Вот видите ли, я опять-таки не совсем согласен с вами даже и в этом, хотя и полагаю, что дочь моя того же мнения, как и вы. Не так ли, Мэри?

– Да, я от души желала бы, чтобы этого украшения не было; мне кажется, что это было бы лучше, – тихо, почти робко выговорила она.

С этой минуты я внутренне решил, что удалю это бесполезное украшение тотчас, как только буду иметь возможность сделать соответствующее распоряжение.

– Ах, люди добрые! – воскликнула Оппортюнити, которая все это время была занята рассматриванием золоченых безделушек. – Я бы очень желала, чтоб кто-нибудь раз хорошенько крикнул «Долой ренты!» и чтобы уж затем никто об этом не говорил! Как только вам не надоест и говорить, и слушать все одно и то же! Взгляните, Мэри, какой прелестный карандашик, я еще никогда не видала ничего более красивого из этого рода вещиц, и стоит он всего четыре доллара; право, Сенн, я очень бы желала, чтобы ты хоть на момент оставил в покое эти ренты и подарил мне этот карандашик.

Но Сенн, очевидно, не имевший никакого желания быть столь щедрым, сдвинул свою шляпу набекрень и, посвистывая, вышел из комнаты. Между тем дядя воспользовался этим случаем, чтобы предложить мисс Оппортюнити принять эту вещицу от него в дар.

– Не может быть, вы шутите! Да неужели?! – весело защебетала она, покраснев от радости и удовольствия. – Но ведь вы только что сказали, что эта вещица стоит четыре доллара, да и то я нахожу, что это дешево.

– Это цена стоит вещей для другой, а для ви он нишего не стоит; мы вместе будет ехать, и когда ми будем приехать Равенснести, ви мене будет сказал, где такой дом, я может продафайт все эти вещи и все моя часи.

– О, да, конечно, я непременно рекомендую вам хороших покупателей.

Выбрав тем временем хорошенькую печатку настоящего золота, украшенную топазом, дядя Ро преподнес ее Мэри Уоррен. Я с беспокойством следил за каждым движением и выражением молодой девушки, желая видеть, какое впечатление произведет на нее эта любезность старика; Мэри краснела и улыбалась как-то сконфуженно, она, казалось, была в затруднительном положении и не знала, что делать и как ей поступить. Мне показалось даже, будто один момент она сомневалась в своем решении, но, наконец, она тихонько отстранилась и ласково отклонила подарок, стараясь в то же время ободрить и не обидеть своим отказом старика. Теперь

только я понял, что ее смутил поступок Оппортюнити, которая поступила как раз наоборот, а Мэри из скромности также не захотела привлечь ее внимание на эту тему; вот почему она так молча отстранила от себя эту хорошенькую вещицу, не объяснив ни одним словом причины своего отказа.

Мистер Уоррен, казалось, тоже был доволен поведением своей дочери и, желая отвлечь внимание всех присутствующих от торговца безделушками, предложил мне сыграть что-нибудь на моем инструменте.

Если за мной можно признать какой-нибудь талант, то это именно талант к музыке; я играл в совершенстве и в данном случае постарался выказать все свое искусство. Я сыграл несколько прекраснейших вещей и сыграл их, действительно, мастерски.

Я видел, что и Мэри, и ее отец поражены моей игрой, что они от меня не ожидали такого исполнения; Мэри, казалось, была положительно в восторге от моей музыки.

Так как было условлено, что мы отправимся далее все вместе, то наше свидание продолжалось вплоть до момента нашего отъезда из Трои, да и тогда мы тоже не разлучались. Мэри и Оппортюнити сидели рядом в омнибусе, а мистер Уоррен предложил мне место рядом с собой, несмотря на неудобное соседство моих гуслей. Мы поместились против молодых барышень, а дядя мой, сидя в другом углу каретки, все время беседовал с Сенеккой Ньюкемом о волнениях антирентистов.

Мистер Уоррен много расспрашивал меня о разных странах и местностях Европы, а главным образом о Германии; я отвечал ему, нередко путая его своими ответами, стараясь говорить хотя и ломаным английским языком, но все же как человек образованный и интеллигентный. Вскоре я заметил, что Мэри, сидевшая как раз против меня, внимательно прислушивалась к каждому слову нашего разговора. Между тем Оппортюнити некоторое время читала какую-то газету или листок, затем жевала яблоко, а все остальное время посвятила сну. Но путь от Трои до Саратоги не велик, и вскоре наше путешествие окончилось.

Глава VII

Если вы дадите мне того, чего у вас немного, то есть терпения, я скажу вам, что отвечает желудок.

Менений Агриппа

Мы расстались у источников Саратоги. Мистер Уоррен и его спутники нашли здесь себе экипаж, который брался доставить их до места; что же касается моего дяди и меня, то мы условились, что доберемся, как сумеем, и прибудем на место, то есть в Равенснест, днем или двумя позже нашей компании.

– Ну, знаешь, – сказал мне мой дядя, как только мы остались одни, – я должен тебе сказать об этом господине Сенекке, или Сенне, как его называет его элегантная сестрица, что это самый отъявленный мерзавец во всем штате. Ты, вероятно, заметил, что этот господин с самого нашего отъезда из Трои и вплоть до настоящего момента все время занимался прениями.

– Конечно, я видел, что язык его ни минуты не оставался в покое, но что он собственно говорил, я не знаю.

– Главной темой его разговора был, конечно, антирен-тизм, смысл которого он всячески старался мне объяснить, как иностранцу. Этот господин не побоялся даже предложить нам с тобой вступить в состав этих ряженных красноко-

жих.

– Как, он намеривался завербовать и нас? Неужели они все еще упорствуют и, вопреки закону, поддерживают эту организацию?

– О, Господи! Закон! Что такое закон в такой стране, как эта? Кто же прибегнет к этому закону против них? С какой стати двум тысячам избирательных голосов стесняться с законом, ведь он в их руках?! Даже если бы они дошли и до убийства, то и тогда это осталось бы, вероятно, без последствий.

– Неужели же вы думаете, что власти будут умышленно закрывать глаза на преднамеренное преступление и поругание закона?

– Это будет зависеть от отдельных личностей; некоторые, быть может, и не захотят потворствовать такому открытому сопротивлению законам, но большинство найдет это более для себя удобным. Провинись ты или я, мы, конечно, тотчас же получили бы законное возмездие, но массе, вероятно, все преступления ее пройдут совершенно безнаказанно. Те два-три человека, которые присоединились в пути к Сенеке, только что прибыли из антирентистских мест и рассказывают положительные чудеса. Видя меня с их приятелем, они ничуть не стеснялись меня. Один из них, как оказалось, оратор-проповедник этой идеи антирентизма.

– Как, разве у них есть и свои проповедники?! Я полагал, что газет и журналов вполне достаточно для распростране-

ния их идей.

– О, что такое газеты и журналы! Они все перегрызли друг другу горло; теперь считается фешенебельным не верить газетным статьям. В настоящее время великим рычагом нашей нации является живое слово.

– Но ведь и проповедник может лгать не хуже любой газетной статьи!

– Понятно, я и сам успел в этом убедиться, что эти люди позволяют себе большие вольности с истиной.

– А вы уже их ловили на лжи?

– О, и не раз! Мне, как человеку, хорошо знакомому с настоящей историей всех этих арендных условий и контрактов, это было весьма легко. Но что за нахальство предложить нам пристать к этой ватаге негодяев!

– И что же вы ответили ему?

– Понятно, я не согласился. Не так же мы с тобой глупы! Один Бог знает, чем все это может кончиться.

На этом мы прервали наш разговор, зайдя в один из наиболее скромных заезжих домов, весьма сносно, однако, приспособленных для людей нашего класса. Сезон посещения вод Саратоги еще не наступил, и потому около источников бродило лишь несколько отдельных личностей, которые, по-видимому, действительно нуждались в их целебном действии. Впрочем, мы воспользовались тележкой, возвращавшейся в Санди-Хилл (Песчаный Холм), куда мы прибыли вечером и где заночевали. В том доме, где нам пришлось

провести ночь, мы много слышали о пресловутых «краснокожих», которые, как говорили, показались уже на территории поместий господ Литтлпедж, причем происходили горячие споры о вероятных результатах их новой экспедиции.

Утром мы снова двинулись в путь со случайными попутчиками и к вечеру прибыли в село Мусридж, где и остановились на ночлег в сельской гостинице. Поужинав, мы более часа просидели под навесом вроде портика, примыкавшем к главному корпусу этой гостиницы, довольно затейливого по своей архитектуре строения. Тут же собрались некоторые из жителей села, с которыми мы имели случай сойтись и побеседовать. Дядюшка мой продал одному из них часы, а я, чтобы развеселить и ознакомить с собой эту компанию, сыграл им несколько вещиц на моих гусях. После такого предварительного знакомства наш разговор, понятно, сам собою перешел на самый насущный вопрос – антирентизм. Главным разговаривающим лицом являлся некий молодой человек, лет двадцати шести или около того, по имени Хеббард, полукрестьянин-полуджентльмен, который, как впоследствии оказалось, был местным поверенным и ходяком по делам, так сказать, сельским адвокатом. Другой его собеседник был некий Холл, он был ремесленник или мастеровой, с открытым правдивым лицом.

Оба уселись на соломенные стулья, прислонясь спиной к стенке и поставив стулья таким образом, что передние ножки их оставались на весу, так что стул держался на одних

задних ножках, упираясь спинкой в стенку.

Эта поза, хотя и весьма не живописная, однако столь обычная для американского простонародья, что никто даже не обратил на это ни малейшего внимания. Как только Холл установил в надлежащем равновесии свой стул, он казался совершенно довольным своим положением, но Хеббард казался беспокойным, глаза его тревожно, даже грозно бегали по сторонам, как бы ища чего-то. Он достал из кармана острый нож и, озираясь кругом, готов уж был встать со своего места, когда хозяин гостиницы подошел к нему и подал ему небольшую еловую дощечку. Хеббард взял эту дощечку и тотчас же принялся стругать ее своим ножом, вырезая на ней какие-то рисунки; он, казалось, испытывал при этом несказанное удовольствие. Этой страстью вырезать вензеля, эмблемы и фигуры страдает большинство американцев, простолюдинов, и, судя по столбам портика, предусмотрительность хозяина, предлагавшего своим посетителям дощечки, была далеко не лишняя, а даже положительно являлась необходимостью, если только он не желал, чтобы крыша его дома в один прекрасный день обрушилась на его голову.

Колонны портика и даже бревна стен свидетельствовали о явной опасности, грозившей зданию в том случае, если предоставить полную волю этим усердным резчикам. Орлы с распростертыми крыльями, американский национальный флаг, всякого рода надписи и инициалы, целые имена и всевозможные патриотические эмблемы были глубоко выреза-

ны повсюду, куда только можно достать рукой. Но наиболее достопримечательным памятником искусства посетительницы гостиницы могла быть названа одна из колонн, поддерживавших здание, да еще как раз угловая, и, следовательно, самая необходимая для целостности самого здания.

И эта колонна была буквально надрезана до половины своей толщины, причем следует заметить, что эта глубокая рана была довольно тщательно отделана, так что сразу можно было убедиться, что над нею потрудились.

– Что же это? – спросил я у содержателя гостиницы, указывая на громадную зияющую рану у главной колонны его портика.

– О, это – это все наши резчики забавляются! – отвечал хозяин, улыбаясь.

Нет, решительно наши американцы прекраснейшие и добродушнейшие люди в мире: вот вам человек, дом которого готов обрушиться на его голову, и он, говоря об этом, улыбается, как Нерон, игравший на арфе во время пожара Рима.

– Aber, – возразил я, – эти шеловеки сделают упасть ваша дом на ваша голова! Зачем ви позволяйт?

– О, мы ведь в свободной стране, и здесь каждый делает все, что ему хочется, и все, что ему вздумается. И я не препятствовал им забавляться, покуда это было возможно без особой опасности для меня и моей постройки; но теперь уже время было прибегнуть к дощечкам, потому что не прошло бы еще и недели, как этот столб должен был бы неминуемо

рухнуть, и моя крыша вместе с ним.

– О, я думаю, я не позволю быть делала так на моя дом, моя дом быть моя дом, и я пускай делала такая штука!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.